

Кровавая карусель

Историческая драма в двух действиях^[1]

Общая ремарка:

Эта пьеса о неудавшейся любви. Неудавшейся из-за того, что живые сердца двух влюбленных разрублены «проклятыми вопросами века». В пьесе представлены в лицах зачинающийся нацизм (Крушеван), близкая к нему, но еще не слившаяся с ним государственная власть (Плеве), зачинающийся коммунизм (Фрида), еврейский страх и пассивность (Кенигшац, Мойша), начальные попытки еврейского сопротивления (Пинхус Дашевский), борьба за демократию и права человека (Короленко). Действие происходит в Петербурге, Кишиневе, Ковеле и Киеве в 1903 году. Короткие быстро сменяющие друг друга сцены имитируют движение карусели.

Действующие лица:

Пинхус Дашевский, бывший студент, 23 года

Фрида Кенигшац, курсистка, его возлюбленная, 25 лет

Евгений Семенович Кенигшац, кишиневский юрист, присяжный поверенный, общественный деятель, выкрест-лютеранин, отец Фриды, 53 года.

Павел Александрович Крушеван, издатель, писатель, журналист, политический деятель, патриот-антисемит, 43 года

Владимир Галактионович Короленко, писатель, издатель, поборник прав человека, 50 лет

Вячеслав Константинович Плеве, министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов, фактический диктатор России, крайний реакционер, 57 лет.

Мойша (Михаил) Либерман, молодой ученый, друг Пинхуса Дашевского, его ровесник.

Попик (Провинциальный священник), случайный попутчик Короленко, 40 лет.

Мионов – адвокат, защитник Дашевского, 35 лет.

Кирилл, молодой погромщик, 20 лет.

Мейер Вейсман, 42 лет, рабочий, потерявший зрение.

Шимон Махлер, владелец дома № 13, 55 лет.

Жители дома № 13:

Мотел Гриншпун, стекольщик, 45 лет.

Берл Бернадский, 60 лет.

Беременная Хайка - его дочь, 27 лет.

Ривка, девочка, 10-12 лет.

Несколько безымянных погромщиков и жертв погрома.

Действие первое

Сцена 1

На сцене полная темнота, тишина, длящаяся несколько минут, пока не становится гнетущей. Внезапно раздаётся бравурная музыка, смех, шум народного гуляния. Одновременно световыми эффектами на темной сцене имитируется вращение карусели. В лучах света – летящий пух. Луч прожектора выхватывает в углу сцены узкую железную кровать, на ней лежит Пинхус Дашевский. Под потолком маленькое окошко с решеткой, показывающее, что это тюремная камера. Бравурную музыку внезапно сменяет стремительно нарастающий вопль (вой) тысяч голосов, какими могут кричать только обреченные люди. Пинхус вскакивает с кровати, зажимает уши, вопль тотчас становится глухим, хотя остается столь же отчаянным. (Он слышен как бы сквозь зажатые уши Пинхуса). Пинхус разжимает уши, вопль резко усиливается, он их снова поспешно зажимает.

Пинхус: Трус!.. Цыплячья душа! Дрогнул. Все-таки дрогнул... Не смог!.. Поэтому они над нами и издеваются, поэтому и топчут нас ногами. А когда приходит охота – убивают. И вовсе они не звери. Они нормальные люди – у них нормальные человеческие реакции. Они уважают тех, кто умеет за себя постоять. Это мы не люди, а не они. Почему им нас не давить, как поганую нечисть? Мы только дрожим от страха, льем слезы, издаем вопли, просим пощады и милосердия. Кто нас защитит, если мы сами не защищаем себя?.. Кто за меня, если я не за себя – так, кажется, говорится в наших древних книгах.

Входит адвокат Миронов – он стремителен, бодр, почти весел, крепко пожимает Пинхусу руку. Начинает говорить уверенно, но несколько снисходительно, как говорят с ребенком.

Миронов: Почему мы так сумрачны, дорогой мой?! Наше дело стоит превосходно! На суде мы заявим, что от первоначального нашего показания мы отказываемся. Оно было дано в состоянии большого волнения, в нем нет правды. У нас не было намерения убить господина Крушевана. Такой мысли, такого

желания у нас не было! Мы *хотели* сделать именно то, что сделали: нанести ему легкую рану, чтобы выразить протест. Такова была наша цель. А убивать мы не хотели! *Не хотели*, понимаете? Это очень важно. В этом мы должны убедить присяжных, и мы это сделаем. У нас есть доказательства. *Вещественные* доказательства, дорогой мой, а не только слова, – это не шутка. Я видел нож, которым мы оцарапали Крушевану шею. Мы его продемонстрируем на суде. Присяжные увидят, что он совсем маленький, с крохотным клинком, почти игрушечный. И этим игрушечным ножичком мы ударили *только один раз!* Наш противник даже не упал, но вторично ударить мы *не* пытались. Мы бросили ножик на мостовую. Правда, при нас был найден еще и револьвер, это уже серьезно. Но и эту улику мы можем повернуть в нашу пользу. Ведь в ход мы его не пустили! И даже попытки такой не сделали. Почему, спрашивается? Если бы мы хотели убить, ножичком у нас не получилось, то нам следовало бы выхватить револьвер и стрелять, не правда ли? Но мы не пытались стрелять!.. *Не пытались!* Револьвер как лежал в кармане, так и остался лежать – до самого обыска в полиции. Дорогой мой! *Так* – не убивают!.. Словом, мы должны запомнить и затвердить: на жизнь господина Крушевана мы *не* покушались, *намерения* убить его у нас не было. Только выразить протест!.. Остальное я беру на себя... Скорее всего, нас оправдают. Если же признают виновным, то в нанесении легкого ранения без последствий для потерпевшего, с целью выразить протест. Это совсем другая статья. Не покушение на убийство, в чем нас хочет обвинить господин прокурор, а сущий пустяк. Пшик! В крайнем случае, присудят к одному-двум месяцам тюрьмы – это меньше, чем мы просидим до суда. Так что в любом случае нас сразу же освободят из-под стражи!

Пинхус: Вы напрасно стараетесь, господин адвокат. Я не изменю показаний.

Миронов: Но – дорогой мой! Так мы погубим себя. Мы должны изменить показания, от этого зависит наша судьба!

Пинхус: Моя судьба мне неинтересна.

Миронов (*хочет решительно возразить, но беспомощно останавливается, не находя слов. Продолжает, изменив тон*): Хорошо, дорогой мой, допустим. Допустим, что на собственную судьбу вам наплевать. Но тогда пожалейте мать! Пожалейте вашего друга Михаила Либермана. В вашей глупости он винит себя и, может быть, уже наложил бы на себя руки, если бы я не уверил его, что ничего серьезного вам не грозит. Еще девушка одна очень о вас хлопочет. Решительная такая девушка. Чертовски хороша собой, между прочим. Стройная и гордая, как пальма... Вы когда-нибудь видели пальмы, дорогой мой?

Пинхус: Только во сне...

Миронов: Во сне?.. Я тоже. В нашем промозглом Петербурге пальмы не растут. Я все мечтаю скопить денег да укатить куда-нибудь в Ниццу, или,

знаете, в Монте-Карло. Там, говорят, пальмы так пальмы! И синее море, и солнце, и горячий белый песок... Иногда заснешь и все это всплывает перед глазами. Хорошо! Так вот, когда я увидел вашу девушку... простите, девушку, что о вас так хлопочет, то мне сразу пригрезилась пальма... Эта гордая девушка, кажется, готова на все, чтобы только спасти вас от каторги. Она ломает себе руки, считая, что виновата во всем она. Видите, дорогой мой, *все* хотят взять на себя нашу вину!

Пинхус: Передайте, пожалуйста, Мойше, чтобы он не волновался и изучал свои звезды. Вины его ни в чем нет. Просто мы всегда были разными. А Фриде скажите... Да, вы правы, она как пальма – гордая, прямая и прочная. Никаким ветром ее не согнуть. Ничего не боится... (*легкая улыбка*) кроме холода... Она ужасная мерзлячка... Да, так скажите ей, что она права – нам с ней не по дороге. Ну а с мамой я объяснюсь сам, когда разрешат свидание... (*После паузы*). Я не изменю показаний, господин адвокат. Я повторю на суде то, что показал на предварительном следствии. Я *хотел* убить Крушевана! Слышите – *хотел*. За тем и приехал в Петербург, за тем и выслеживал его, за тем купил нож и пистолет. Я *презираю* себя за то, что раньше времени бросил нож, за то, что не решился стрелять. Мне не хватило мужества, господин адвокат. Но на то, чтобы ответить за свой поступок, у меня мужества хватит. Это я и скажу на суде.

Сцена 2

Кишинев. Двор дома № 13 по Азиатской улице. Справа стена большого двухэтажного дома, слева убогий сарайчик, в глубине сцены навес. Во дворе испуганная горстка евреев, сгрудившихся вокруг владельца дома Шимона Махлера.

Махлер: Так вы говорите, что они ушли полчаса назад?.. Подумайте только – как вам это нравится! В то самое время, когда я пошел сюда, к ним, они пошли туда, ко мне! Как же мы могли разминуться – вот чего я не могу понять! Как мы могли разминуться, если всегда ходим друг к другу по одной и той же дороге? Как мы могли разминуться, а?.. Пойдите, давайте по порядку. Значит, вчера здесь все было тихо?

Берл Бернадский: Вчера, благодарение Богу, было тихо, реб Шимон, все было тихо. Вот с утра стало нехорошо. Так ваша дочь Лея взяла своего мужа Герша, сыночка Арончика, и они пошли.

Бетя Гриншпун (*с умилением*): Арончик – такой красавчик! Такой умненький мальчик! Золото, а не ребенок. Так похож на вас, реб Шимон, так похож – ну просто вылитый дедушка!

Хайка Бернадская: Она еще вчера хотела уйти, Лея. Я к ней зашла на минутку, да так и осталась до поздней ночи, потому что она места себе не находила: «Как там отец, как мама? В такое тревожное время надо быть вместе!»

Я отговаривала ее как могла: «Куда ты пойдешь – в самый ад, в самое пекло, да еще на ночь глядя? Знаешь же, что там творится!» Она не знала, что делать – то ли бежать к отцу, то ли остаться с сыном. Металась из угла в угол. Герш ее умолял, я умоляла, в общем, она осталась. А утром, чуть свет, сунула что-то в торбу, схватила в охапку Арончика, и они пошли.

Махлер (*с тревогой в голосе*): Одного не могу понять – как же я с ними разминуся?..

Мотель Гриншпун: Не волнуйтесь за них, реб Шимон. Поверьте моему слову – с ними все хорошо. Они давно уже пьют чай в вашей гостиной и ждут вашего возвращения. Что б я так жил, как с ними ничего плохого уже не будет. Вот сможете ли вы вернуться, это уже другой вопрос!.. Слышите?.. (*Все прислушиваются, в наступившей тишине слышен ропот надвигающейся толпы*). Они приближаются... Да они уже совсем близко... А бежать некуда, все выходы перекрыты полицией. Как вам это нравится? Вместо того чтобы защищать нас от них, они отдают нас на растерзание. Что б я так жил!

Махлер: Значит, мне суждено пережить это во второй раз... Господи, за что ты так наказываешь меня? Неужели такой страшный грех – иметь беспокойный характер? Как моя Бася не хотела меня отпускать! «Не пушу, говорит, никуда ты не пойдешь. Наберись терпения. Они скоро сами придут сюда». Так я не послушался. Я накричал на нее: «Не смей меня удерживать!.. Я не буду сидеть, сложа руки и ждать, ничего не зная о судьбе внука, дочери! Я не такой бесчувственный, как ты! Если ты можешь сидеть и ждать, то я не могу и не буду. Мне они дороже жизни». Она расплакалась: «Значит, я бесчувственная, мне они не дороги?» Я на это ничего не ответил, оттолкнул ее и ушел, хлопнув дверью. Она так и осталась в слезах. И вот вам пожалуйста, разминуся! И должен теперь все это испытать во второй раз. За что такая кара, можете мне сказать? Вчерашнего, выходит, мне было мало. Ведь все началось в двух шагах от моего дома, на Чуфлинской площади. Пьяная толпа вдруг бросилась громить еврейские дома и магазины.словно кто-то им подал сигнал. Я едва успел закрыть на засов ворота. Ворота у меня крепкие, дубовые, забор тоже, так что они, благодарение Богу, не смогли вломиться в дом. А то осталось бы от нас с Басей мокрое место. Слава Богу, мы целы, только разорены дотла. Лавку-то они разнесли в щепы. Только что получил партию лучшего английского сукна – на полгода торговать. Все в долг куплено, так что я теперь разорен. А они ведь даже не растаскивали добро, просто рвали и втапывали в грязь. Я смотрел на все это через окно и возносил благодарственные молитвы. Если Богу угодно меня наказать разорением, то разве я могу роптать на Бога? Я был нищим и снова стал нищим. Не велика важность! Пока голова цела, что-нибудь придумаю, не пропадем. Лишь бы уцелеть!.. Вы думаете, что они спаслись, да? Не может же Бог быть таким жестоким, чтобы отнять все достояние, да еще и внука в придачу...

Пока Махлер говорит, появляется молдаванка, жестами подзывает к себе Бетю Гриншпун, и они уходят. Прежде чем уйти, Бетя что-то тихо говорит мужу, но тот поглощен разговором с Махлером и не слышит ее.

Гриншпун: Бог милостив, реб Шимон, Бог не может наказать так жестоко. Все знают, какой вы добрый и хороший человек. Бог таких не наказывает... Вот моя Бетя говорит... *(Как бы опомнившись, обводит всех тревожным взглядом)*. А где моя Бетя?.. Бетя!... Бетя-я!.. Вы не видели Бетю? Она же стояла здесь, рядом, и вдруг пропала. Эта женская привычка – пропадать в самую нужную минуту. Как вам это нравится? Куда она могла запропасться? Бетя! Где же ты? Надо прятаться, они уже идут сюда. *(Шум надвигающейся толпы усиливается)*: Где же Бетя?.. Бетя! Где же ты?.. *(Снова озирается, но никого вокруг нет)*. Где все?.. Только что был здесь весь дом, и вот уже никого нет. Попрятались. Где же моя Бетя? Бетя-я-я!!

Голос из толпы *(передразнивающий)*: Беття-я-я!! Бетт-я-я! Беття-я-я!! *(В Гриншпуна летят камни. Слышен звон разбиваемого стекла. Гриншпун, пригнувшись и прикрывая голову, бежит в сарай.)*

Сцена 3

В купе поезда В.Г. Короленко и случайный попутчик-священник (Попик).

Попик *(тяжело вздыхая и крестясь)*: Да, ужасно, это ужасно. Какое позорное, богомерзкое дело. Одному диаволу в радость. А все же и винить христиан надо со снисхождением. Евреи сами во многом виноваты.

Короленко: В чем же, батюшка? Вы что – тоже считаете, что *еврейская эксплуатация* чем-то хуже своей, христианской?

Попик: Про это я не особенно разумею, а вот их вера...

Короленко *(удивленно)*: Да что нам с вами до их веры? Пусть себе молятся, как им угодно. Вы убеждены, что их вера неправая, ну так Бог их и покарает. Нам-то какое до этого дело?

Попик: Так ведь не любят они христиан. Проклинают в своих синагогах. Злодейства всякие учиняют.

Короленко: С чего вы взяли? Какие проклятья, какие злодейства?..

Попик: Ну, как же! Хватают христианских детей, кровь из них выцеживают – для пасхальных опресноков. Без этого им нельзя. Вера у них такая.

Короленко: Вы что же это – серьезно? Неужели верите сказкам?

Попик: Рад бы не верить, да вы про убийство мальчика Рыбаченко слышали?

Короленко: Так вот вы о чем! Но ведь евреи к этому делу не причастны. Это злостная выдумка, ее распространял Крушеван в своих двух газетах. А за ним

и другие газеты такого же толка. Они называют себя патриотическими, но только позорят Россию. Какие ужасы порасписали! Будто мальчика держали в подполе, качали в бочке с гвоздями, зашили ему рот, нос, уши, распинали на кресте, по капле выцеживали кровь. А следствие установило, что мальчик был убит ударом полена по голове! Убийца – его же собственный двоюродный брат – выродок двадцати лет. Позарился на наследство, потому что их общий дед в завещании отписал свой дом и сад и все имущество младшему внуку Мише Рыбаченко, а старшего обделил. Вот тот и решил стать единственным наследником. Все это, батюшка, выяснилось довольно скоро в ходе следствия. Но прежде чем об этом стало известно широкой публике, Павел Крушеван пустил в оборот навет на евреев, чем и раскрутил кровавую кишиневскую карусель. Теперь навет опровергнут, да дело уже сделано!..

Попик (*настороженно*). Кем опровергнут? Еврейской прессой?

Короленко (*стараясь сдерживаться*): Послушайте, батюшка, в России нет еврейской прессы, если не считать нескольких местных газет на еврейском языке, да еженедельника «Рассвет» на русском. Выходит он мизерным тиражом, никто, кроме самих евреев, его не читает. Еврейскими у нас называют все издания, которые не раболепствуют перед властями. Вот и мой журнал «Русское богатство» тоже называют еврейским. Все только потому, что мы смеем высказывать независимые суждения. Так что отнюдь не еврейская, а вся лучшая часть русской прессы не верит в сказки о ритуальных убийствах. Да и сам Крушеван вынужден был напечатать опровержение. Вот, читайте, у меня с собой его газета! (*Короленко вынимает из дорожного саквояжа номер газеты «Бессарабец», протягивает Попику*).

Попик (*недоверчиво берет газету, читает медленно, раздумчиво*): «По сообщенным теперь точным сведениям оказывается, что в этом деле решительно нет ничего такого, что дало бы возможность видеть ритуальное убийство даже для лиц, предрасположенных к тому...» (*Попик смотрит растерянно и недоуменно*) Как же это... А наколы на жилах?... А раны, нанесенные особым треугольным предметом, чтобы кровь стекала по желобу?..

Короленко: Все это ложные слухи! Крушеван подхватил и раздул их, чтобы нагнетать ненависть к евреям. Что из этого получилось в Кишиневе, вы знаете.

Попик: А куда же смотрели власти? Цензура?

Короленко (*с издевкой в голосе*): Цензура, батюшка, всегда смотрит туда, куда нужно. Вот Крушевану пришлось напечатать опровержение, но вы его не заметили. Оно и неудивительно – крохотная заметка набрана мелким шрифтом и помещена где-то в середине толстой газеты. Тысячи других читателей тоже не заметили. А в остальной русской прессе – той самой, что вы назвали еврейской – воцарилось молчание. Почему бы это – как вы думаете? Потому что поступил

цензурный запрет: не писать больше о деле Миши Рыбаченко. Указание дал Цензурному комитету министр внутренних дел фон Плеве.

Попик (*испуганно*): Плеве?.. Так что же, вы считаете, он это – по злой воле?

Короленко: От господина Плеве всего можно ожидать. Я держусь о нем крайне невыгодного мнения. Правда, он умен и инициативен, в нем много усердия и энергии – этого у него не отнимешь. Но он воспитан в таких понятиях, что способен на любую провокацию. Его карьера прошла в Корпусе жандармов, там он дорос до самых высоких чинов. А теперь поставлен управлять огромной империей, и делает это как жандарм. Ему доносят по всем каналам, что в стране растет недовольство, назревает революция. Как с этим совладать, он не знает, и действует по-жандармски. Ему и в голову не приходит, что есть только одна возможность успокоить общество – пойти навстречу разумным требованиям и начать хоть некоторые реформы. А прежде всего остального – положить конец произволу, то есть показать, что власть сама готова отвечать перед законом. Но господин Плеве действует противоположным образом: он насаждает произвол. К чему это приводит? Только к тому, что возмущение проникает во все более широкие слои общества. Возмущается интеллигенция, бурлит студенчество, бастуют рабочие, крестьяне все чаще бунтуют и жгут помещичьи усадьбы. Признать, что правительство есть главный враг России и русского народа, Плеве не может – вот и пытается направить народный гнев на евреев. Конечно, он был бы бессилен, если бы не такие помощники, как Крушеван. Но попомните мое слово – он за это поплатится. Не удивлюсь, если его достанет бомба или кинжал какого-нибудь отчаянного юноши, как это случилось с его предшественником. Того, кстати сказать, убил отнюдь не еврей.

Попик (*испуганно*): Но разве можно так – против высшей власти? Это гордыня в вас...

Короленко (*неожиданно поняв, какое смятение посеял в душе попика, и рассмеявшись*): Можно, батюшка! *Говорить* – можно. Я призываю не к насилию, а к законности. И потому говорю и буду говорить против власти до тех пор, пока она не станет действовать в рамках ею же установленных законов. Обо всем можно говорить! Даже о том, что евреи выцеживают христианскую кровь из младенцев – сколь ни гнусна такая ложь, можно говорить и писать, если другой стороне позволено опровергать эту клевету...

Сцена 4

Сарай во дворе дома № 13. Здесь полутемно, но яркие полосы света прорываются в щели. Прильнув к ним, сидят несколько женщин и мужчин разного возраста, здесь же несколько детей, в том числе Ривка – худенькая девочка десяти-двенадцати лет. Здесь же Шимон Махлер. Неподвижно, тесно прижавшись друг к другу, сидят Берл Бернадский и его беременная дочь Хайка.

Вбегает Мотель Гриншпун.

Гриншпун: Вы не видели мою Бетю? Куда же она запропастилась?.. (Мечется по сараю, то перебегая от одного к другому, то припадая к щелям. С улицы слышится гогот пьяной толпы, звон и треск разрушения.) А вы – не видели Бетю? Вы – не видели? Ну что за странная привычка – когда нужна, так всегда ее нет. Всегда ее нет, когда нужна! Что б я так жил... *(В сарай врывается толпа с кольями, топорами, ломами. Несколько вбежавших бросаются на молодую женщину, хватают, начинают срывать одежду. В одном из них Гриншпун узнает соседского паренька Кирилла и с радостью бросается к нему)*: Это ты, Кирику! Как хорошо, что это ты! Ты не видел мою Бетю?.. Не твоя ли мать спрятала ее? *(Дружки Кирилла насилуют еврейку. Кирилл, полный ярости, что ему помешали, хватается Гриншпуна за шею, начинает душить; бормочет бессвязные ругательства)*. Пусти меня, Кирику...

Кирилл: Молчи, жидюга, все равно тебя убью!

Гриншпун: Да ты что, Кирику! Ты же на моих глазах вырос. Такой хороший был мальчик. Что б я так жил! Бетя баловала тебя, как родного сына – своего-то нам Бог не дал. Бетя так любила с тобой возиться. В тебе души не чаяла, с колен своих не спускала. А я тебя учил зайчиков лепить из оконной замазки. Помнишь, какие забавные были зайчики?

Кирилл *(полон ярости, пьяные глаза налиты кровью)*: Вот я тебе покажу зайчиков! Будешь знать, как пить кровь христианских зайчиков! *(Ударяет Гриншпуна каким-то предметом. Тот смотрит на него с удивлением, видит кровь, зажимает рану рукой и выбегает из сарая)*.

Сцена 5

Снова двор дома номер 13, но уже после разгрома. Стена дома покорежена, вместо окон зияют пустые бесформенные дыры, стекла побиты, рамы выломаны и т.д. На красном черепичном скате крыши виден большой медный таз. По двору ходит, все тщательно осматривая, Владимир Короленко. Он сосредоточен, мрачен, делает пометки в блокноте. Появляется Ривка – девочка 10-12 лет, на тонких ножках и с тонкими ручками, с потухшими взрослыми глазами.

Ривка *(тихим ровным голосом, обращаясь к Короленко)*: А беременной Хайке повезло!

Появляется Хайка.

Хайка: Да, мне повезло *(плачет)*.

Ривка *(сердито)*: Она еще плачет!.. Вот убили бы тебя, как твоего отца Берла Бернадского или как стекольщика Мотеля Гриншпуна, тогда бы и плакала. А осталась жива, так радуйся, а не плачь!

Хайка: Все несчастье от этого стекольщика. (*К Короленко*). Мы сидели в сарае – тихо, как мыши. Им бы и в голову не пришло туда заглянуть. Так вбежал этот Гриншпун – «где моя Бетя, где моя Бетя?» Они и прибежали за ним. Его сразу стали бить, а мы бросились из сарая. Куда бежать? Вбежали в дом, они за нами. Мы побежали вверх по лестнице.

Ривка (*сердито*): А надо было вниз...

Хайка (*пренебрежительно махнув на Ривку рукой, чтобы замолчала*): Так они за нами по лестнице. Мы полезли на чердак. Так они за нами на чердак. Мы через слуховое окно – на крышу. Так и они на крышу. Куда же дальше? Мы стали убегать от них по крыше. А они всё гогочут, всё гогочут. И бросают нам под ноги медный таз. Видите, он все еще лежит на крыше. Им было весело смотреть, как мы спотыкаемся об этот таз, падаем, обдираем руки, колени... Сколько это длилось?.. Не знаю. Может быть полчаса, а может и полтора. Ах, как им было весело! Как забавно! Шимон Махлер нарочно повыше подпрыгивал да почаще падал, чтобы было смешнее. Они гогочут, а он подмигивает нам, мол, позабавятся – станут добрее. Но они не стали добрее, нет. Отец на коленях ползал, ноги им целовал. “Родненькие, кричит, век буду Бога молить. Пощадите. Помилуйте. Не убивайте... Ну хорошо, убейте меня, но дочку мою пощадите. Ради дитяти в чреве ее пощадите. Не берите грех на душу. Пусть на меня падут все ваши грехи, только дочь поща...». (*Хайка захлебывается рыданиями*).

Ривка (*подражая взрослой женщине, всплескивает руками*): Ну вот, она опять плачет. И чего плачет, чего плачет... Тебе сколько раз говорили – осталась жива, так радуйся, а не плачь!..

Хайка: Они его спихнули ногой. Он сразу разбился на смерть. Слава Богу, не мучался. А вот Махлер еще долго был жив. Вот кому не повезло, так это Махлеру! Во внуке Арончике он души не чаял. Только скажи ему, что карапуз похож на него как две капли воды, так он таял от счастья и тут хоть веревки из него вей. Бетя Гриншпун особенно к нему подольщалась. У стекольщика дела шли неважно. Так Бетя Махлеру про внука его напоет, а потом с квартплатой подождать просит. Он только покачивал головой, вздыхал, но никогда не отказывал. Добрый был человек, не как другие. Дом-то *его* был, Махлера. Восемь квартир. Так он семь сдавал, а в восьмой дочь поселил, подружку мою Лею... Когда его сбросили с крыши, он долго корчился, искалеченный, на земле. Стонал – видно, хотел показать, что жив, нуждается в помощи. Ну они ему и помогли. Вылили на него бочонок вина, и он захлебнулся.

Короленко (*осторожно, с надеждой*): Но вас они все-таки пощадил?..

Хайка: Меня Бог пощадил. Я так думаю, что Он услышал мольбу отца. Они не услышали, а Он услышал. Тут к стене дома прибило гору пуха, и Богу было угодно, чтобы меня *они* бросили в этот пух. Знаете, ведь *они* всегда начинают с перин. Вспарывают еврейские перины, пух летит по воздуху,

женщины визжат, вот им и потеха. Сперва они выпускают еврейский пух, а потом еврейский дух. А меня этот пух спас. Целую гору пуха прибило к стене, и я прямо в него угодила. Они, как увидели, что я осталась цела, так набросились на меня. Я кричу – «Что вы делаете, я же беременная!..» Так они стали палкой по животу бить: «Вот мы тебе поможем от твоего жидовского бремени разрешиться!» Но тут подошел к ним нотариус Писаржевский, их предводитель, и говорит: «Хватит ребята, здесь достаточно поработали. Надо дальше идти». Они и ушли... (Плачет).

Сцена 6

Ковель, холодная комната Пинхуса Дашевского. В глубине узкая железная кровать, колченогий стул, небольшой столик, на котором разбросаны газеты.

Пинхус: (Мечется по своей комнатке. Поглощен роковой мыслью). Почему они все попрятались? Забились в щели, как тараканы. В Кишиневе 60 тысяч евреев, это тысяч пятнадцать здоровых мужчин. И все попрятались по погребам. На их глазах насиловали их жен, разбивали головы старикам, выбрасывали из окон младенцев, а они только дрожали от страха и молили о пощаде. (Хватает со стола газету) Крушеван пишет, что евреи тоже убивали христиан. Если бы так! Жалкие дрожащие твари! Трусы, позорные трусы! Это главная черта нашего жалкого племени. Поэтому нас и топчут ногами, поэтому плюют в лицо, оскорбляют, издеваются... А когда приходит охота – убивают. Какое позорище! Стыд и срам на глазах всего света! Я думал, что на такое способны только звери. Но теперь понимаю, что они нормальные люди, у них нормальные человеческие реакции. Они убивают тех, кто позволяет себя убивать. Это *наш* позор, а не их... (Входит Фрида).

Фрида: Вот и я, Пинхус. Ах, какой холод на улице. Словно не апрель, а январь на дворе. (Снимает зимнее пальто, передергивает плечами). А у тебя тут еще холоднее. Как в погребе. (Трогает ладонью холодную печь). Ну конечно, твоя хозяйка опять не топила. Согрей меня поскорее. Что ты смотришь с таким изумлением? Не ждал?..

Пинхус (растерянно и радостно улыбаясь): Ждал... Но не смел надеяться. Не надеялся, что придешь. Что даже сегодня – придешь!

Фрида: Не надеялся? Даже сегодня?.. (Игриво усмехается) Чем же эта ночь отличается от других ночей? Разве сегодня Моисей вывел наших предков из Египта?.. Я сказала, что буду в десять – значит в десять. Прямо после занятий в рабочем кружке. (Смотрит на часы, показывает их Пинхусу). Видишь – минута в минуту. Разве я тебя когда-нибудь обманывала?

Пинхус: Никогда... Но когда я тебя жду, я все равно не верю. Мне кажется, что этого не может быть, что мне это снится. Как иногда привидятся во сне пальмы на берегу моря, под горячим солнцем... Я никогда не видел пальм, но во

сне вижу их так отчетливо: высокие, стройные, гордые... Как ты. И так становится хорошо! Но это только во сне... И когда я жду твоего прихода. Это тоже как сон. А уж сегодня... Просто не мог поверить, что может быть так хорошо...

Фрида (*смеется, перебивая*): Было бы еще лучше, если бы твоя прижимистая хозяйка топила печь. (*Решительно, деловито и вместе с тем страстно целует Пинхуса. Оторвавшись, но оставаясь в его объятиях, продолжает*). И чего ты держишься за эту берлогу. Всюду сдаются комнаты – лучше и дешевле этой. И хозяева топят печи – топят, понимаешь? (*Продолжает опять игриво*). Была бы твоя хозяйка помоложе, я бы заподозрила что-то неладное. Но ревновать к этой блеклой старухе – это было бы слишком. И чем взяла тебя эта буржуйка? Если тебе так нужно кого-то жалеть, то пожалей другую – ту, которая топит!

Пинхус: Как ты не можешь понять, Фрида! У несчастной вдовы четверо детей. Без моей квартплаты она совсем пропадет. Она рада бы топить. Печь-то общая, ее дети тоже мерзнут на той половине. Но кто же мог знать, что будет такая затяжная зима? Запас дров у нее давно кончился, покупать не на что. А ты все твердишь: буржуйка, эксплуатация. Скажи еще – еврейская эксплуатация – и чем же ты будешь отличаться от Крушевана?

Фрида (*выскальзывая из его объятий*): Нет, дружок, в тебе засело столько буржуазного, что я, видно, никогда не наведу порядка в твоих мозгах. Как ты не можешь понять, что общество делится на классы! Вот я занимаюсь в кружке с рабочими. Малограмотные парни, с трудом перо держат в руках, а как быстро все усваивают. Сходу все понимают. Вот что значит пролетарское самосознание! А ты, такой умный и образованный, а самых простых понятий о классовой борьбе никак не усвоишь. Приходи к нам в кружок, пока полиция его не накрыла, мозги твои быстро прочистятся. Сразу разберешься, кто буржуй, а кто пролетарий. А я к тебе не за тем пришла. (*Фрида взъерошивает его волосы, снова обвивает его шею, притягивает к себе. Долгий поцелуй. Потом она решительно отстраняется, выворачивает фитиль керосиновой лампы. Свет гаснет. Фрида деловито раздевается, ее фигура едва угадывается в темноте. Раздевшись, она приподымает край одеяла, намереваясь юркнуть в постель. Пинхус все это время стоит неподвижно, следит за ее движениями*).

Пинхус (*приглушенным хриплым голосом*): Фрида, ты читала сегодня газеты?..

Фрида (*продолжая подымать край одеяла*). Ты о Кишиневе?.. Чего-либо подобного следовало ожидать. Надвигается революция, власти нервничают и делают глупости. Но нам тоже предстоит разобраться – почему масса пошла за Крушеваном. (*Фрида от холода снова передергивает плечами*). Все же на твоём месте я сказала бы хозяйке, что она должна топить, иначе мы здесь заледенеем.

(Она исчезает под толстым одеялом).

Пинхус *(вдруг охрипшим голосом)*: И ты... ты можешь говорить об этом так спокойно?

Фрида *(насмешливо из темноты)*: Что же мне – рвать на себе волосы? *(Чуть помолчав, игриво)*. Где же ты, Пинхус? Согрей меня, мне холодно!..

Пинхус *(внутренне закипая)*: Холодно?... Тебе – холодно?... Разве тебе может быть холодно? Ты же ... ты же... полено. Кусок мяса! Гадкая похотливая тварь!

Фрида *(с испуганным изумлением)*: Что с тобой, Пинхус? Ты понимаешь, что говоришь?

Пинхус: Уйди! Слышишь? Уйди?... А то... А то... *(У Пинхуса перехватывает дыхание. Долгая пауза, в течение которой Фрида выжидает, а Пинхус стоит неподвижно, подавляя рыдания).*

Фрида: Значит, ты хочешь, чтобы я ушла? *(Под Фридой скрипит кровать, она нарочито медленно одевается, давая ему время одуматься. Одетая долго стоит за его спиной, продолжая выжидать. Затем решительно набрасывает меховое пальто, быстро идет к двери).* Ты пожалеешь об этом, Пинхус! *(Она выбегает из комнаты, дверь за ней громко захлопывается).*

Сцена 7

Кишинев, Двор Дома 13. Ривка, Хайка, Короленко.

Ривка *(сердито Хайке)*: Про стекольщика Гриншпуна ты не смеешь так говорить. Он был хороший. Он был большой и добрый, от него вкусно пахло оконной замазкой. Он меня гладил по голове и угощал абрикосами. Он носил на ремне большой плоский ящик. В нем были стекла. Он их перекладывал абрикосовой стружкой, а за ухом у него был алмаз. Он резал стекла – ровно, ровно! Он ходил по городу и все кричал: «Окна вставляю, окна вставляю». Но никому не надо было вставлять окна. Бетя его поедом ела: где твои заработки, где заработки, кому нужны твои окна? А разве он был виноват, что окна у всех целы? Он так и говорил ей: «Что же мне, самому окна быть? Подожди, говорил, немного, имей терпение. Вот будет погром – так отбоя не будет от заказов. Что б мне так жить!»

Хайка: Он шутник был, Мотель Гриншпун. Вот и дошутился.

Ривка: Теперь всему городу нужны новые окна, а стекольщика Гриншпуна больше нет. *(Протягивает руку к навесу)*. Вон там его и убивали. Вон там – где пятно. Когда он выбежал из сарая, у него уже текла кровь. А они с гиканьем бежали за ним. А впереди всех Кирилл. Пьяный. Все хотел его лопатой достать. Гриншпун бросился сюда, потом туда, потом туда. Все бегал кругами, как на карусели. Он зажимал рану рукой. Кровь текла между пальцами, падала

большими каплями. За ним пьяный Кирилл такими же кругами бегаёт. А Бетя, его жена, у матери Кирилла отсиживалась. Такая вот кровавая карусель получилась. Кирилл норовил ему подножку поставить, но он перепрыгивал через их ноги, ловко так перепрыгивал, увертывался, и снова бежал, а они снова за ним... Ну а там, под навесом, они бросили ему под ноги медный таз.

Хайка: Какой таз?! Ты все перепутала. Это они *нам* бросали таз. Там, на крыше!

Ривка (*зло, сердито, топнув ногой*): А вот и не перепутала! Ты сама все перепутала. Ты не видела, как убивали Гриншпуна, а я видела! Я спряталась в подвале, а там окошко под потолком. Я залезла повыше и все видела. Он споткнулся о таз и упал. А они на него. Устроили кучу-малу. А когда разбежались, он уже не дышал. Из подвала все было видно. Его первого убили. А потом уже полезли на крышу. И таз с собой взяли. Им понравилось тазом кидаться. Я все видела, а ты не видела!

Сцена 8

Ковель. Комната Пинхуса Дашевского.

Пинхус (*в зал*): Я пожалел сразу же, как она захлопнула дверь. Хотел броситься следом, обнять, принести назад на руках. Но рыдания душили меня, я так и не двинулся с места. (*Медленно гаснет свет, фигура Пинхуса растворяется в темноте. Слышен только его голос*). Мы встретились через три дня. (*С последним словом вспыхивает яркий свет, это уже не комната Пинхуса, а авансцена. Пинхус и Фрида стоят посередине, застыв друг у друга в объятиях. Долгий, страстный, прощальный поцелуй. Потом она решительно отстраняется*).

Фрида: Ну вот и все, Пинхус. Все. Больше мы не увидимся.

Пинхус: Я виноват перед тобой, Фрида. Я... я потерял голову, Фрида! Прости меня, Фрида. Я очень виноват, но больше этого не будет. Я буду тебя еще больше любить... Мы всегда будем вместе... Мы – всегда – будем – вместе...

Фрида: Нет, Пинхус, ты ни в чем не виноват. Я все обдумала и решила. Мы не можем быть вместе. Ты никогда не сможешь быть с нами. Ты слишком впечатлителен. В тебе много интеллигентской мягкости. Я люблю тебя, Пинхус. Может быть, никогда никого больше не буду любить. Но нам не по дороге. Рано или поздно наши пути разойдутся. А потому лучше порвать теперь. Позже будет больнее.

Сцена 9

Петербург, кабинет Плеве. Плеве – в парадном мундире жандармского генерала – принимает еврейскую депутацию: Кенигшаца и двух его молчаливых спутников. Прием идет стоя.

Кенигшац: Ваше Высокопревосходительство! В нынешних печальных обстоятельствах еврейское общество чувствует себя обнадеженным самим известием, что Ваше Высокопревосходительство согласилось выделить время на эту встречу.

Плеве: Но времени мало, господа, прошу говорить только о самом главном. Я вас слушаю.

Кенигшац: Еврейское общество, Ваше Высокопревосходительство, обижено циркулярным письмом Министерства внутренних дел по поводу печальных событий в Кишиневе. В циркуляре говорится о еврее – хозяине каруселей – и женщине с ребенком. Будто бы бедная женщина хотела прокатиться, но ей нечем было уплатить, и он грубо ее оттолкнул, так что она упала и выронила ребенка. И это вызвало ответные действия толпы. Смысл тот, что евреи сами дали повод к погрому. Но ничего похожего не было. Это выдумка антисемитских газет, прежде всего господина Крушевана. Расследованием выяснено, что в этом году на Пасху в Кишиневе никаких каруселей вообще не ставили.

Плеве: До того, что пишут в газетах, господа, мне дела нет, но у меня есть официальные сведения о том, что зачинщиками беспорядков в городе Кишиневе были евреи. Сожалею, но я склонен доверять донесениям моих подчиненных.

Кенигшац: Но то, что пострадало только еврейское население, не отрицает и правительство. Нам представляется очень важным, чтобы оно публично выразило сочувствие пострадавшим. Целительное действие могла бы иметь наша аудиенция у государя. Если бы Ваше Высокопревосходительство соизволило объяснить Его Императорскому Величеству символическое значение такой встречи, то, может быть, Его Величество соблаговолило бы нас принять – хотя бы на несколько минут. Пара сочувственных слов из уст государя, попав в газеты, могла бы способствовать успокоению общества.

Плеве: Государь сейчас нездоров и никого не принимает. Но (*подумав*)... знаете что, господа! Я, пожалуй, мог бы попробовать устроить такую аудиенцию, если вы соблаговолите выразить лично Его Величеству благодарность за попечительские меры правительства.

Кенигшац (*перешептываясь с другими членами депутации*): Он предлагает нам благодарить за учиненное побоище! (*Обращаясь к Плеве*) Если государь нездоров, мы не смеем просить аудиенции. Но, может быть, государь иным способом выразит свое сочувствие к нашей беде. Сейчас, вы знаете, по всему миру собирают пожертвования в пользу кишиневских страдальцев. Мне оказано доверие, я поставлен во главе распорядительного комитета этого фонда. Если бы государь соизволил внести в него любую сумму – даже самую незначительную, чисто символическую, – это произвело бы очень благоприятное впечатление и внутри страны, и за границей.

Плеве (сухо): Я передам Вашу просьбу государю, но при условии, что вы, господа, передадите пославшим вас евреям, а паче всего еврейской молодежи и интеллигенции, что они не должны забывать главного. Евреи в России народ пришлый и должны вести себя подобающие. Нам известно, какие планы против России строит тайное правительство Сионских мудрецов. Оно велит евреям проникать во все поры христианского государства и общества, разлагать и захватывать его изнутри. Во многих странах вы уже добились успеха. Но в России у вас ничего не выйдет, господа. Да-с, не выйдет! Не скрою, революционное движение нас беспокоит. Рабочие забастовки, крестьянские бунты, демонстрации, студенческие сходки, акты террора порой вызывают смятение в рядах представителей власти. Но мы с этим справимся. Не думайте, что Россия – старый дряхлеющий организм. Сил у нас еще много. Народ и царь едины, и они сметут всех, кто пытается вбить клин в русское общество. Не это ли показали события в Кишиневе, господа, – при всех нежелательных последствиях? Вам следует понять и зарубить на носу, что если Сионские мудрецы не отступятся от своих злонамеренных планов, евреи за это поплатятся. Если вы не удержите еврейской молодежи от участия в смуте, то мы сделаем положение *всех* евреев настолько невыносимым, что вам придется уйти из России до последнего человека. Тех, кто не уйдет добром, заставим силой. Или уничтожим. Погромы в этом отношении не особенно эффективны, господа, но техника идет вперед. Возможностей для организованного уничтожения людей становится все больше. Запомните мои слова и передайте тем, кто вас послал.

Кенигшац (подавленно): Еврейская масса, Ваше Высокопревосходительство, озабочена тем, как прокормить себя и своих детей. Ей не до революций и не до политики. Что же касается отдельных молодых людей, грезящих революцией, то евреев среди них все-таки не так много, чтобы их во всем обвинять. Да и как мы можем на них повлиять, Ваше Высокопревосходительство? У правительства есть корпус жандармов, тайный сыск, суды, тюрьмы, каторга. Неужели вы полагаете, что наши увещания могут сильнее воздействовать на горячие головы молодежи, чем кары правительства? Я не одобряю революционеров, я верноподданный еврей, готов верой и правдой служить Его Величеству...

Плеве (перебивая): А вот в этом я сомневаюсь, господин Кенигшац! Оч-чень сомневаюсь! Вы интеллигент, а еврейская интеллигенция *вся* неблагонадежна.

Кенигшац. Не более чем русская, Ваше Высокопревосходительство.

Плеве (резко): Нет, именно еврейская! А из русской интеллигенции неблагонадежна та часть, что попала под влияние евреев. Так что и тут, господин Кенигшац, чувствуется ваша рука. Не говорю уже о том, что ваша собственная дочь Фрида Евгеньевна Кенигшац – активная революционерка. Об этом есть агентурные сведения. Ее подпольная кличка – *Красная*. Не можете повлиять на

всю еврейскую молодежь – повлияйте на свою красную дочь! За сим честь имею, господа. Я и так уделил вам вдвое времени против обещанного.

Сцена 10

Ковель, знакомая нам комната Пинхуса.

Пинхус (в зал): Она ужасная мерзлячка. Все-то ей было холодно, все холодно. Вот она и сердилась на хозяйку комнаты. Приходила всегда точно, часы можно было проверять. Я каждый раз не верил, что она придет. Не надеялся. Но она приходила.... (Входит Фрида)

Фрида: Вот и я, милый! Что – опять не ждал? Опять не надеялся? Какой ты право смешной! И ... трогательный... (Смеется, кокетливо запрокинув голову). Была бы я обычной буржуазной барышней, ох и подразнила бы я тебя, поиграла бы с тобой в разные игры, как кошка с мышкой!.. Представь себе – то я томно вздыхаю, закатываю глаза, а то пропускаю свидания, кокетничаю напропалую с каким-нибудь офицериком – из этих, знаешь, галантных, с напомаженными волосами на косой пробор. Представляешь, вот я с ним танцую на балу в дворянском собрании, в открытом платье и бриллиантах, хохочу до упада его солдатским шуткам, а ты – бледный, потухший, с перекошенным от отчаянья ртом стоишь у колонны и пожираешь меня глазами. А я, как ни в чем не бывало, подвожу к тебе офицера и говорю ему: «Позвольте вам представить моего приятеля Пинхуса Дашевского. Он тоже, между прочим, служил в армии». Офицерик щелкает каблуками и спрашивает: «В каком полку изволили служить-с, в каком чине вышли-с?.. А, рядовым-с! Понятно!» И он мне с усмешкой подмигивает. Я хихикаю, наклоняю голову к его плечу. Тут снова вступает мазурка или какой-нибудь котильон, и он увлекает меня танцевать... Ну, признавайся, что бы ты сделал? Вызвал бы его на дуэль? Или просто убил из-за угла? Тогда кого – его или меня?..

Пинхус (глядя на нее с нежной улыбкой): Обоих!...

Фрида (весело смеется): Твое счастье, что я подалась в социал-демократы! Пролетарская мораль запрещает все эти буржуазные безобразия. Французские духи, бриллианты, открытые платья – это бесстыдство и разврат... Вот ты бы намаялся с такой буржуйкой, любезный дружок, настрадался бы!... И было бы тебе поделом с твоими буржуазными замашками. На твоё счастье, пролетариат признает только равноправие полов. Мы испытываем влечение друг к другу и делаем то, что нам подсказывает наша природа. Это естественно и потому благородно. (Фрида целует Пинхуса, выворачивает фитиль керосиновой лампы, на сцене гаснет свет, в почти полном мраке летят во все стороны одежды. Вступает музыка – что-то очень негромкое, шопенистое. Фрида и Пинхус увлекают друг друга в постель. Становится совсем темно, все затихает, кроме мелодии. После паузы Пинхус продолжает в полной темноте; пока он говорит, сцена несколько светлеет).

Пинхус (*приподнявшись на кровати, говорит в зал*): Да, так было!.. Утолив первый порыв страсти, мы долго лежали напуганные собственным безумием. Мне хотелось плакать от нежности к этому мерзнущему зверьку, дарившему мне столько тепла. (*Сцена становится еще немного светлее*). Фрида первая приходила в себя. (*В полумраке видно, как Фрида устраивается поудобнее на узкой кровати, повернувшись лицом к Пинхусу. Она приподымается на локте, так что одеяло соскальзывает с ее обнаженного плеча. Пинхус заботливо натягивает на нее одеяло, говорит, обращаясь к ней*). Накройся, а то тебе опять станет холодно.

Фрида: Когда я с тобой, мне не холодно, милый. Рассказывай что-нибудь, я хочу слышать твой голос. У тебя такой голос... Он меня тоже греет. Как твои руки, как твоя грудь, как все твое тело.

Пинхус: Но я тебе все уже рассказал, Фрида, ты все обо мне знаешь. Лучше ты расскажи о себе.

Фрида: Ты обо мне тоже все знаешь, милый. Все, что тебе следует знать. И даже немного больше. Ты даже знаешь мою подпольную кличку – *Красная*. Сама не знаю, как это я проболталась...

Пинхус: Вот уж что мне неинтересно, так это твоя подпольная кличка. А вот как ты росла, о чем мечтала, как ты жила в родительском доме?

Фрида: Да это не я была в родительском доме. Не я, понимаешь? Это *ко мне* отношения не имеет. В том буржуазном мире *меня* не было. Там жила другая девочка – глупая, капризная, избалованная. А как только я стала я, я порвала с этим миром. Вернее так – только после того, как я порвала с этим миром, я стала я. Мать я почти не помню – она умерла, когда мне было семь лет. А мой отец... мой *бывший* отец, потому что я давно уже не считаю его отцом, – он законченный буржуазный интеллигент. Он мне совершенно чужой, как весь их мир. Он, видишь ли, много учился, и многого достиг. Самый видный адвокат Кишинева, присяжный поверенный. Получил это звание, приняв крещение, лютеранство. Адвокатов-евреев, ты знаешь, в присяжные поверенные принимают по жесткой норме. Вот им и приходится либо до седых волос числиться помощниками у других адвокатов, либо хотя бы формально отказываться от своей религии. Это мой бывший отец и сделал. Правверное еврейство его за это презирает, но носится с ним, как с писаной торбой. Как же – такой умный и влиятельный человек! И щедро жертвует на нужды общины. Ему мало богатства, успеха, он еще жаждет почета. Панически боится чего-то из всего этого недополучить. Только порвав с ним и со всеми ними, я стала той Фридой, какую ты знаешь... Но от *своего* голоса я мерзну, Пинхус, меня согревает твой.

Пинхус: А я не отделяю себя от того мира, в котором вырос. Хорош он или нехорош, но это *мой* мир. Коль скоро мне суждено было родиться евреем, в Киеве, на Подоле, – стало быть я еврей, выросший в Киеве, на Подоле. Такая

выпала мне судьба, от своей судьбы никуда не уйти. Что же я тебе расскажу – снова о нашем домике, о том как мать ухаживала за цветами в нашем крошечном садике? Ты все это уже слышала. О моем друге Мойше Либермане я тебе тоже все рассказал. Он продолжает делать успехи, станет большим ученым. Отец мой, как ты знаешь, мечтал сделать меня врачом. Он все повторял, что для еврея нет лучшей профессии. Врачу и хлеб обеспечен, и право повсеместного жительство, и всеобщее уважение.

Фрида: Вот-вот, *уважение* – их главная страсть, они на нем просто помешаны. Не столько даже деньги, но именно почет и уважение буржуазии. Для этого они готовы на все!

Пинхус: Я так и слышу его голос: «Запомни, Пинхус, перед лицом болезни и смерти нет эллина и иудея, никто не хочет болеть и тем более умирать. Врач нужен всем». С десяти лет он таскал меня в больницу, чтобы приучить к виду человеческих страданий. Но у меня они вызывали страх, а от запаха карболки все время тошнило. Он не хотел этого замечать, и когда я отказался поступать на медицинский, для него это был тяжелый удар. Он слег в постель, да так и не поднялся. Я думаю – не мое ли упрямство доконало его. Не могу отделаться от чувства вины...

Фрида: Ну какая тут твоя вина!.. У человека было больное сердце, он слег в постель и умер – причем здесь ты? Сколько можно заниматься самоедством? Где случается какая-нибудь беда – ты сразу винишь себя. Все хочешь улучшить, исправить, все грехи мира на себя взвалить, прямо как Иисус Христос. Пойми, наконец, что этот мир насилья исправить нельзя – его можно только разрушить. Вот в том, что ты этого не хочешь понять, ты действительно виноват. Никак не освободишься от буржуазного мусора в голове... Но – знаешь, за что я тебя полюбила?.. За то, что у тебя такие виноватые глаза... Умом тебя за это осуждаю, а сердцем прикипела. Такое вот диалектическое противоречие... (*Фрида тихо смеется, прижимается к Пинхусу всем телом, трется щекой о его плечо. Тихо вступает лирическая мелодия*).

Пинхус (*взволнованно, отвечая на ее ласку*): Но ведь сейчас темно, Фрида. Ты не можешь видеть моих глаз.

Фрида: Мне и не надо видеть, милый. Я помню. (Свет полностью гаснет. Мелодия играет громче, на ее фоне едва слышно нежное бормотание, скрип кровати...)

Сцена 11

Кишинев, больничная палата. На кровати лежит Мейер Вейсман. У него черная борода, плотная марлевая повязка на глазах, поверх одеяла руки с темными беспокойными кистями. Рядом сидит Короленко с блокнотом.

Мейер Вейсман: Что тут скажешь, господин хороший? Все было, как у

всех. Когда они пришли, мы стали бегать. Прибежали к соседу-молдаванину. Жили рядом много лет, всегда добрые были соседи. Он готов был нас спрятать в подполе. Но тут пришла с улицы его жена – говорит, что за это толпа может расправиться и с ними. Пришлось уходить. Мы в другую калитку, в третью – не пускают. Сунулись к одному мешумеду – из этих, знаете, евреев, что крестились. Крестились и все забыли. Только он не забыл, нет. В окно икону выставил, на воротах намалевал огромный крест, но все равно весь дрожит от страха. Я постучался, так дочери его открыли. Я говорю – возьмите хотя бы детей. Они их пустили. Но только вижу, отец берет их молча за шиворот и через забор выбрасывает. Я снова стучу. Дочери его – милые добрые девушки – пускают, а отец опять берет за шиворот и через забор, как котят. Вот мы побежали на городскую бойню. Там много евреев скопилось, все в страхе и ужасе, но надеются – сюда *их* не допустят. Но куда там! Прибежали с ломами и кольями. Стали бить. Помню нотариуса Писаржевского – он отдавал распоряжения, да мальчика, махавшего передо мной гирькой на веревочке, а больше ничего не помню. Очнулся уже здесь, на этой кровати. Стал звать старшую дочь: «Ита, Ита, где моя Ита?». А она меня за руку держит, отвечает сквозь слезы: «Я здесь, отец, здесь!» – «Почему же я тебя не вижу, Ита?» Тут она разрыдалась – громко, не выдержала. И тогда я понял, что никогда уже не увижу ни мою дочь Иту, ни самого белого света. Я ведь с детства был кривой на один глаз. Так он меня выправил, этот мальчуган. И знаете, говорят, ходит довольный, всем охотно показывает «ту самую гирьку».

Короленко: Не судите строго этого мальчика, господин Вейсман. В вашем несчастье вам трудно согласиться, но поверьте – он такая же жертва погрома, как и вы. Он начинает жить с таким тяжелым поступком на совести. Подумайте, каким ужасом содрогнется его душа, когда он вырастет и поймет, что натворил.

Вейсман (*горько усмехаясь*): Ну а если он никогда ничего не поймет, человек хороший? Мне-то что? Я то, считайте, его простил. Мне легко простить – ведь я ему ничего плохого не сделал. А вот он – простит ли он меня когда-нибудь? Ведь человек ненавидит другого не потому, что тот его обидел. Такого мы легко прощаем, и умиляемся собственному великодушию. А вот когда мы причинили кому-то зло, то отыскиваем все новые причины и поводы, чтобы еще сильнее на него злобствовать. Я не удивлюсь, если окажется, что он вырастет, состарится, и внукам своим будет с гордостью показывать «ту» гирьку и похвалиться тем, как ловко выбил последний глаз у еврея.

Короленко: Но тогда он еще более несчастная жертва погрома!

Вейсман: Конечно большая, господин хороший! Ведь меня он только лишил зрения. А себе – душу искалечил.

Голос за дверью (*из другой палаты*): Ты у меня покочевряжишься, стерва жидовская! Покочевряжишься! Подписывай, говорю, гадюка, как есть. Я тебе в

морду дам, если будешь показывать против Писаржевского. Не видела ты его, поняла? Тебе померещилось. Подписывай, как я записал, а то хуже будет!

Короленко: Что это за шум?

Вейсман: А тут с утра до вечера так. Следователи с пострадавших снимают допросы, пишут протоколы, истину устанавливают... (*Короленко поспешно идет к двери*).

Действие второе:

Сцена 12

Петербург. Кабинет Плеве. За столом сидит хозяин кабинета, напротив него Павел Александрович Крушеван.

Плеве: Прочел, господин Крушеван, ваши секретные «Протоколы»...

Крушеван: Не мои, Ваше Высокопревосходительство, а «Протоколы сионских мудрецов».

Плеве: Да, да, конечно! Сионских мудрецов. Неплохо они намудрили, надо сказать (*усмехается*), на то и мудрецы! Поучительная книженция, на многое открыла мои глаза. Только что принимал еврейскую депутацию во главе с кишиневским присяжным поверенным Кенигшацем. Как кишиневец, вы его должны знать.

Крушеван: Как же не знать – фигура в наших кроях заметная! Любопытнейший тип, надо сказать. Из тех, кто хочет танцевать на всех свадьбах. Ради карьеры крестился в лютеранскую веру, но с еврейством не порывает. Надо полагать, пришел к вам просить о смягчении политики правительства по отношению к евреям – в свете кишиневских беспорядков?

Плеве: А я только что прочитал эти ваши «Протоколы», ну и говорю ему: «Сперва пусть ваши сионские мудрецы прикажут еврейской молодежи прекратить устраивать заговоры против России. А потом мы подумаем об улучшении вашей участи». Вы видели бы, какое у него стало лицо! (*Плеве хохочет*). Премного вам благодарен за науку.

Крушеван: Я бы хотел, Ваше Высокопревосходительство, чтобы эта книжица, стала достоянием всей России. Пусть народ знает о страшном еврейском замысле покорения мира, частично, кстати, уже осуществленном. Они уже прибрали к рукам Америку, половину Европы, теперь за Россию взялись. Наша торговля, финансы, пресса, адвокатура, медицина – все в руках евреев. Мы – русские патриоты – давно говорим о тайном еврейском заговоре, но нам не хотят верить. А в этих протоколах Сионские мудрецы *сами* о нем рассказывают. *Сами*, Ваше Высокопревосходительство! Да с какими подробностями!

Плеве: А вы не боитесь, что ваши противники объявят их фальшивкой и привлекут вас к суду за подлог?

Крушеван: Волков бояться – в лес не ходить, Ваше Высокопревосходительство. А еврейских волков я не боюсь. Их пресса, конечно, поднимет вой, как подняла после погрома. Ну и что? Доказательств у них нет – только шума наделают, а чем больше шума, тем больше внимания к «Протоколам». Что бы о них ни говорили, как бы не пытались их опорочить, всегда будут люди, склонные верить в тайный еврейский заговор. Эти «Протоколы» переживут нас, о них будут спорить и через сто лет. Поэтому я так настойчиво добиваюсь чести опубликовать их первым, Ваше Высокопревосходительство.

Плеве: Это ваше желание я понимаю. Рад бы помочь. Но Цензурный комитет сопротивляется не по капризу. Вы же знаете, есть закон, запрещающий натравливать одну часть населения на другую. Сейчас, после кишиневских событий, к этому закону повышенное внимание. Многие и без того упрекают цензуру в том, что слишком часто о нем забывала, давая возможность публиковать подстрекательские статьи против евреев.

Крушеван: Законы можно толковать по-разному, Ваше Высокопревосходительство. Вы сами не раз давали тому пример. Вот малость помяли бока евреям в Кишиневе – почему, спрашивается, по какой причине? Правительство выпустило официальное разъяснение, что все началось с того, что еврей – владелец каруселей – толкнул бедную женщину с ребенком, потому что ей нечем было заплатить. Все, казалось бы, ясно. А какой шум поднялся в прессе против русских патриотов! Разве это не натравливание евреев на православных христиан, Ваше Высокопревосходительство? И все это публикуется с одобрения Цензурного комитета! А с «Протоколами» они уперлись – натравливание... Но кто же тут на кого натравливает, Ваше Высокопревосходительство? Ведь это *они*, *Сионские мудрецы*, натравливают на русский народ евреев, масонов и самих русских, кого им удалось обмануть или купить за еврейское золото. Я хочу лишь предать огласке их тайные замыслы, а в натравливании обвиняют меня же.

Плеве (*заметно колеблясь*): Пришли бы вы ко мне с этим до кишиневских событий, не было бы вопроса. А теперь мое личное вмешательство на вашей стороне было бы очень уж неправильно истолковано. Ведь тотчас же станет известно, что разрешение получено вами от высшей власти, в обход Цензурного комитета... Сможем ли мы утаить это обстоятельство? Не думаю. Если хитроумные Сионские мудрецы не сумели уберечь *свои* секреты (*Плеве хитро подмигивает*), то где уж нам уберечь *нашу* тайну!.. А ведь мы с вами и без того вроде как молочные братья. Вас объявили вдохновителем Кишиневского погрома, а меня – организатором. Даже секретную телеграмму за границей опубликовали, будто бы мною посланную Кишиневскому губернатору. Будто я заранее

предупредил его о погроме и приказал сидеть, сложа руки! Каково, а?

Крушеван: Но правительство опровергло эти еврейские инсинуации против Вашего Высокопревосходительства.

Плеве: Правительство-то опровергло... Да кто нынче верит правительству? Все знают, что официальные заявления лгут. Да и что тут опровергнешь! Евреев били в Кишиневе? Били. Власть бездействовала? Бездействовала. А кто стоит во главе исполнительной власти? Министр внутренних дел фон Плеве! Посылал я телеграмму губернатору или не посылал – это мелкие подробности петитом, как говорит ваш брат журналист. Если мы в Петербурге заранее знали и содействовали погрому, то мы соучастники, а если не знали, проморгали столь грандиозное событие, то мы тогда вовсе не власть, а какой-то кисель. Вот и выходит, что кругом виноват я, как глава исполнительной власти. Ну и вы, как главный возбудитель юдофобских настроений. Кровью кишиневских евреев мы с вами вместе замараны, и нам уж от нее не отмыться. Побратала нас эта кровь. Так что вернее будет сказать, что мы с вами не молочные братья, а кровные! (*Плеве громко смеется собственному каламбуру, продолжает сквозь смех*). И вы, стало быть, ко мне с этими «Протоколами» как к брату обратились...

Крушеван (*не принимая шутливого тона*): Неужели же, Ваше Высокопревосходительство, писатель-патриот не может рассказать о том, что умышляют против России и всего мира враги рода человеческого! В конце концов, это просто странно: крещеный еврей Адикаевский защищает интересы России от русского патриота Крушевана!

Плеве (*снова залиvisto смеется*): Это вы про старичка Адикаевского из Цензурного комитета?... Помилуйте, Павел Александрович! Ну какой же он еврей! Это старый служака, имеющий заслуги. Грешит излишним формализмом – с этим я готов согласиться. Но зачем же его так сразу – в еврей? Эдак вы и меня евреем объявите, если чем-то придусь не по нраву... Нет, дорогой Павел Александрович, цензурным требованиям вы должны подчиняться. Или вы тоже за свободу печати?

Крушеван (*вспыхнув*): Почему тоже, Ваше Высокопревосходительство?

Плеве: А потому что вспоминается мне недавний разговор с господином Короленко. Он точно так же, как вы, сидел против меня в этом самом кресле. Пригласил я его, чтобы сделать внушение – предупредить, что журнал его, «Русское богатство», публикует подстрекательские материалы против правительства, и если он не прекратит этой линии, мы прекратим его журнал. Так он делал невинные глаза и недоумевал: какая крамола может исходить от журнала, если за ним цензура смотрит? Вы, говорит, просмотрели бы корректуры, искореженные цензором Адикаевским. Да, да, уважаемый Павел Александрович! Господа оппозиционеры больше всего недовольны именно Адикаевским. Требуют убрать его вместе со всем Цензурным комитетом. Понимаете, какая

дерзость! Я ему угрожаю крутыми мерами за то, что он протаскивает крамолу через цензурные рогатки, а он заявляет, что надобно вообще отменить контроль над печатью. (*Шутливо*) Вы, выходит, того же мнения?

Крушеван (*снова не принимая шутливого тона, с пафосом*): Нет, Ваше Высокопревосходительство, я не против цензуры. Но цензура должна оберегать Россию от ее недругов, а не наоборот. Короленко превратил журнал «Русское богатство» в «Богатство еврейское». Его давно пора закрыть, но цензура с ним нянчится, корежит, как вы, изволили выразиться, крамольные статьи вместо того, чтобы их вовсе не пропускать. А патриотическим изданиям чинит преграды. Враги трона и России, такие, как Короленко, и защитник отечества Павел Крушеван одинаково ущемляются цензурой! (*Возмущенный Крушеван встает и делает несколько шагов по комнате*)

Плеве: Ну, ну, не горячитесь и сядьте. Вы слишком прямолинейны. На что я сторонник твердой линии, а маневрирую. Не от хорошей жизни, поверьте. Знаете, сколько моих недругов – тайных и явных – толпится у трона? Так и нашептывают государю, так и нашептывают. Управлять государством, мол, дело тонкое, требует осмотрительности, гибкости, а этот солдафон и жандарм – то есть я – только и умеет толочься, как русский медведь в посудной лавке. Только-де позорит Россию и государя перед цивилизованным миром. А государю-то, знаете ли, Павел Александрович, очень хочется выглядеть цивилизованным перед своими европейскими родичами. Очень хочется ему показать, что мы тоже ши не лаптем хлебаем. Потому особую слабость имеет к нашептываниям. Вот и ходишь, как по проволоке. Если бы не его страх перед революцией да не отвращение к евреям – а он, скажу вам, их пуще нас с вами не переносит – то давно уже не сидеть бы мне в этом кабинете. Так что приходится маневрировать. Учитесь и вы многообразию тактических приемов. В нынешней обстановке предписать Цензурному комитету дать добро на ваши «Протоколы» в обход закона я не могу. Но неформально попробую подействовать. Я вскорости уеду в отпуск, перед тем и поговорю кое с кем, кто погибче Адикаевского. Цензурный комитет один, да кабинетов в нем много. Ничего не могу обещать наверняка, но, надеюсь, пока буду в отпуске, они вас вызовут и дадут разрешение. В политике, знаете, не всегда нужно идти напролом.

Крушеван: Я не политик, Ваше Высокопревосходительство. Я всего лишь честный писатель, не боящийся говорить правду о еврейских кознях против России. Я знал, что найду у Вас понимание. Не смею больше задерживать моего молочного, то есть кровного брата...

Сцена 13

Ковель, комната Пинхуса Дашевского. Пинхус и Фрида.

Фрида (*поддразнивая*). А теперь расскажи о твоём подвиге.

Пинхус (*усмехаясь*): Но я уже столько раз рассказывал, Фрида.

Фрида (*капризно*). Расскажи еще раз. Я хочу! Про того полицейского – какая, говоришь у него была челюсть – лошадиная?

Пинхус: Челюсть огромная, как у лошади, а лоб узкий, впалый, как у маленькой обезьянки. И тупые, пуговичные глаза. Словом, типичный городской, околоточный надзиратель. Когда вспыхнула уличная драка, я бросился разнимать, сам получил пару затрещин. Толпа собралась, окружила. Тут он свистит в свой свисток: «Рр-р-азойдись, посторонись!» Стал опрашивать свидетелей, писать протокол, да так бестолково, хоть кол на голове теши. Вижу, человек мучается, никак не может взять в толк – кто где стоял, и кто кого ударил. Я стал ему разъяснять, да он как рявкнет: «Не лезь не в свое дело, жидовская морда». Ну, я и врезал ему по лошадиной челюсти. Сам не знаю, как, но сбил его с ног...

Фрида (*весело*): И что же дальше?

Пинхус: Поволокли в участок, продержали в холодной две недели, от усердия завели аж два судебных дела. Мало им «оскорбления действием представителя власти», так решили еще припаять «хранение запрещенной литературы». А нашли при обыске всего только давнюю брошюру – Леона Пинскера «Автоэмансипация». Я и не знал, что она запретная, спрятал бы понадежнее. Понять нашу власть невозможно. Она притесняет евреев по всем линиям, делает все, чтобы побольше их покидало Россию. Пинскер призывает к тому же самому, говоря, что есть только один способ избавиться от притеснений и ненависти – эмигрировать в Палестину и создать там свое еврейское государство. Он считает, что единственный выход для евреев – это *исход*. Казалось бы, власти должны сами распространять такую брошюру, а они объявили ее запретной.

Фрида: Тебе-то зачем буржуазно-националистический бред этого Пинскера! То же мне выдумал – еврейское государство. Словно в нем не те же буржуи будут жиреть на поте и слезах рабочих. Пролетарии всех стран должны объединяться, чтобы бороться за свои права, а не разбегаться по своим национальным квартирам. Разделение на евреев и неевреев на руку только буржуазии! Какие же действительно дураки могли запретить эту им же полезную брошюру.

Пинхус: Но брошюра брошюрой, а городской запомнит, что за «жидовскую морду» может сам схлопотать по морде.

Фрида (*иронически*): Здорово! И таким манером ты хочешь переделать мир! Тому полицейскому его лошадиную челюсть вправили через десять минут, а тебе предстоит суд, может быть, месяцы тюрьмы, если не уберешься до того за границу. Вот к чему приводят неорганизованные выступления одиночек! (*Продолжает серьезно*) Наша партия против таких выступлений, в особенности

против террора.

Пинхус (*с изумлением*): Как это – против террора? Ведь ваши убили в прошлом году Сипягина – министра внутренних дел!

Фрида (*с еще большим изумлением*): Наши убили Сипягина?! Да ты что говоришь, Пинхус? Ну и путаница у тебя в голове! Это сделали эсеры, социалисты-революционеры.

Пинхус: А вы разве не революционеры?

Фрида: Мы – эсдеки, социал-демократы. Надо же понимать разницу! У нас совсем другая программа.

Пинхус: Но вы тоже за революцию!

Фрида (*назидательным тоном*): Послушай, Пинхус, как ты не хочешь понять простых вещей. Мы партия рабочего класса, а эсеры имеют претензию выступать от всего народа. Они не понимают, что революция победит лишь тогда, когда рабочий класс созреет для организованной борьбы. Не раньше и не позже. Как поется в нашей революционной песне: «Никто не даст нам избавленья, не Бог, не царь и не герой». А у них ставка на отдельных героев. Бах-бах! Карету разнесло в щепы, злому министру или губернатору располосовало живот, кишки вывалились наружу... А какой толк? «Героя» вешают, а на место вялого безынициативного министра Сипягина садится инициативный и изобретательный Плевел. Что же – теперь и этого убивать? Так третий будет не лучше!

Пинхус: Но что-то же надо делать!

Фрида: Надо кропотливо работать с рабочими. Организовывать их выступления. Рабочий класс должен созреть для борьбы. Бомба, револьвер и кинжал в руках одиночек приносит больше вреда, чем пользы. Как и твой богатырский кулак, сваливший городского с лошадиной челюстью (*смеется*)... Но ты снова заставляешь меня читать тебе лекцию... Разве я за этим пришла... (*Фрида обнимает Пинхуса, свет медленно гаснет, тихо играет лирическая музыка...*)

Пинхус (*один на авансцене, говорит в зал*): Все это кончилось в день Кишиневского погрома... Я старался не думать о Фриде, но мысленно вел с ней нескончаемый спор. Я силился доказать ей, что мир делится не только на угнетателей и угнетенных и что душа человека – больше, чем совокупность общественных отношений. Я мысленно говорил ей, что человек – это радость и боль, красота и уродство, мечта о счастье и боязнь смерти. Что человек – это тайна, это судьба, предначертанная откуда-то свыше, а не бухгалтерская книга с точно подсчитанными классовыми интересами. Я говорил ей мысленно это и многое другое, но в то же время понимал, как все это аморфно, неубедительно, и как вообще мало значат слова, не подкрепленные делом. Да, их надо подкрепить

делом! Я *должен* исполнить то, что задумал. Должен! Я слышу, что кто-то, кто много сильнее меня, настойчиво шепчет мне в самое ухо, нет, минуя ухо, прямо в мой мозг: «Встань и иди. Ты все равно не сможешь жить, если не сделаешь этого!».

Сцена 14

Кишинев. Кабинет Кенигшаца, с явными чертами роскоши.

Короленко и Кенигшац

Кенигшац: Какое счастье! Подумать только, у меня в гостях сам Владимир Галактионович Короленко! Такая честь! Такая высокая честь! Я буду об этом внукам рассказывать!.. Если моя непутевая дочь когда-нибудь подарит мне внуков... Шутка сказать, принимать самого Короленко!

Короленко (*сдержанно*): Помилуйте, Евгений Семенович, это *вы* оказываете мне честь и уделяете ваше время. У такого известного адвоката время, я думаю, дорого стоит!

Кенигшац (*отмахиваясь обеими руками*): Сколько может стоить *мое* время по сравнению с *вашим*! Приехать в какой-то окраинный Кишинев, чтобы разбираться в нашем еврейском горе! Я ведь понимаю – в Великой России это лишь один из многих вопросов, да и не самый насущный. Но вы откладываете работу над новой повестью, откладываете дела по журналу и приезжаете сюда заниматься нашим маленьким еврейским горем. Кто еще из русских писателей способен на такое?!

Короленко (*почти брезгливо*): Зачем же такие преувеличения, Евгений Семенович? Вы прекрасно знаете, что почти вся русская литература, почти вся печать, профессура, интеллигенция возмущены этим варварством. Все мы считаем, что в России нет маленького еврейского вопроса, а есть большой русский вопрос. Вы знаете, как наши лучшие мыслители уже целое столетие пытаются просвещать народ, сеять разумное, доброе, вечное, чтобы наша страна, наконец, присоединилась к цивилизованному человечеству. Их за это объявляли безумцами, гноили в Сибири, до сих пор затыкают рты кляпом цензуры. Но большая и лучшая часть общества на их стороне. Это пугает власти, пугает тех, кто не выносит свежего ветра и новых идей. Они-то и стремятся оградить русский народ частоколом темных предрассудков, они и заражают его племенной ненавистью, толкая к нравственному одичанию. Так что для меня речь идет о судьбе *моего* народа. Кишиневский погром – это *русская* беда в такой же мере, как и еврейская. Поэтому я здесь. Вы были очевидцем кровавых событий, знаете их подоплеку. Я хотел бы услышать от вас как можно больше подробностей.

Кенигшац (*оставив наигранный тон, вздыхая*): Это была Варфоломеевская ночь среди бела дня. Страшно даже не то, что беззащитных людей мучили и убивали, а то, что это делалось с таким цинизмом, на глазах всего города. Мы

слышим много крика о еврейских эксплуататорах, якобы вызывающих особую ненависть со стороны христиан; но пострадала от погрома в основном голытьба. Я, к примеру, хотя никого не эксплуатирую, но человек состоятельный. Так в мой дом громилы проникнуть не смогли. У меня крепкий забор. Да и в охране губернатор бы не отказал, если бы возникла нужда – как же, я ведь известный в губернии общественный деятель, можно ли допустить, чтобы такой видный человек стал жертвой насилия разъяренной толпы? Ну а на всяких там бедолаг охраны не напасешься, куда проще и надежнее обеспечить охраной погромщиков. Если хотите узнать, что и как здесь происходило, побывайте хотя бы на Азиатской улице, дом номер 13...

Короленко: Там, где убили стекольщика Гриншпуна? *(с горечью)* Уже имел удовольствие, побывал...

Кенигшац: А на Гостиной 33?.. Нет?.. Там было еще ужаснее. Старуху Рейзель Кацап схватили во дворе, долго истязали, потом убили. Там же забили до смерти пятнадцатилетнего школьника Беньямина Барановича, а его отца заставили на это смотреть – молча, не двигаясь. Громилы наслаждались его немым отчаянием. Сына они били дубинами по голове, мальчик истекал кровью, кричал, а они смеялись и говорили отцу: «Пикнешь или тронешься с места – и тебя убьем, как собаку». Вот он и не двигался, стоял и смотрел, стиснув зубы. В сарае каретника Хадкевича озверевшие парни изнасиловали старуху семидесяти лет, да еще тринадцатилетнюю девочку. Так изорвали ей все внутренности, что она, уже доставленная в больницу, медленно истекла кровью...

Короленко: В больнице я многого насмотрелся. Про девочку эту слышал, но в живых не застал. Зато был свидетелем отвратительных сцен, как следователи снимают показания с потерпевших, и тут же их запугивают, а если не удастся запугать, пишут часть протокола карандашом, чтобы потом можно было стереть. Не допускают показаний против представителей власти и отдельных лиц вроде нотариуса Писаржевского. В этом свете особенно выпукло выглядят рассказы людей о том, что власти не противодействовали погромщикам. Вы, насколько понимаю, это подтверждаете?

Кенигшац *(мрачно)*: Снова этот неизбежный вопрос о бездействии властей!.. Я понимаю, что вы хотите знать все стороны дела, и я ничего от вас не скрою. Но при одном условии, Владимир Галактионович, – это не для печати. Только для вашей личной ориентации...

Короленко: Вот как!.. Ну что ж, ваше право ставить условие, но ваши мотивы, признаюсь, мне не понятны. Вашим доверием я не злоупотреблю – на этот счет можете быть спокойны.

Кенигшац: Я и не беспокоюсь, Владимир Галактионович, но я считаю, что нам следует быть осмотровыми и проявлять сдержанность... Сказать, что полиция «не противодействовала» – значит, ничего не сказать! Она *помогала*

погромщикам. «Стихийный» будто бы бунт против евреев был хорошо организован. За две недели до кровавой Пасхи в город были доставлены тюки с прокламациями. Их разбрасывали на улицах, раздавали в трактирах. Призывали «бить жидов». Намеренно распространялись слухи, будто царь «разрешил» три дня бить и грабить евреев. Были запасены сотни ломов и кольев – их раздавали с особых складов. Во главе каждой группы стоял предводитель из людей образованных, вроде нотариуса Писаржевского. В отличие от других, он не держался в тени и теперь слишком многие его опознали. На него – единственного из предводителей – пришлось-таки завести уголовное дело. Нельзя было не завести. Но его всячески стараются обелить, для этого и запугивают свидетелей, а когда не удается запугать, то изымают протоколы допросов из дела. Или вымарывают, подтирают, словом, фальсифицируют. Это единственное дело против предводителя одной группы погромщиков, но таких предводителей было человек тридцать или сорок. У каждого был список подопечных домов и улиц. Если две группы сходились вместе у какой-то еврейской лавки или синагоги, то предводители сверяли списки. Недоразумение разъяснялось, и тот, кто по ошибке вторгся на чужую территорию, уводил свою команду. Тут был полный порядок. Главари групп были заранее набернованы и проинструктированы Охранным отделением. Его возглавлял у нас барон Левендаль. Он подчинялся не губернатору, а напрямую Министерству внутренних дел, то есть господину фон Плеве. Тот и позаботился, чтобы местные власти не мешали барону и его людям. Пока толпа бесчинствовала, я несколько раз приходил к губернатору – просил его вмешаться. Он вроде бы соглашался, даже велел запрягать, чтобы выехать в город и на месте распоряжаться. Он так мне и говорил: «Еду восстановить порядок». Но следом приходил барон Левендаль, и губернатор не двигался с места. Только на третий день, получив, видимо, новую инструкцию, он отдал приказ войскам. Погром был прекращен за два часа, без единого выстрела. Но козлом отпущения сделали именно губернатора. Он уволен в отставку, а барон Левендаль переведен от нас с повышением. Здесь свою миссию он, видимо, выполнил...

Короленко (*взволнованно*): Это очень важные сведения, господин Кенигшац, они *должны* быть обнародованы. Если вы не хотите, чтобы называлось ваше имя, я могу не ссылаться на вас...

Кенигшац (*со страданием в голосе*): Ну вот, и вы о том же, Владимир Галактионович! Неужели вы думаете, что я боюсь за себя? Поверьте, все гораздо сложнее. Я не считаю *правильным* избличать правительство, и я в ужасе, когда это делают другие. Это может привести к страшным последствиям. Власти сами сознают, что зашли слишком далеко. Они теперь хотят снять напряжение, всех поскорее утихомирить. Мы хотим того же, значит, им надо помочь, а не мешать. Многие просто одержимы стремлением прижать правительство к стене, не задумываясь о последствиях. Но разве можно загонять зверя в угол! Кишиневский погром – это не предел того, на что способен фон Плеве. Зачем же поднимать

волну, которая обрушится на наши же головы?

Короленко: Признаюсь, мне странно слышать такое от юриста. Разве сама профессия не обязывает вас содействовать раскрытию истины?

Кенигшац (*вскрикивает с болью в голосе*): Истины?! Вам известно, в чем истина?.. (*более спокойно, с усмешкой*) Вы счастливый человек, Владимир Галактионович. Такой же счастливый, как моя дочь Фрида. (*Кенигшац опять горько усмехается*). Моя непримиримая дочь!.. Она презирает меня за «буржуйские» компромиссы, за робость, за то, что я не рвусь погибнуть на баррикадах. Она готовит социальную революцию. Ее подпольная кличка – *Красная*. Это, конечно, секрет, она сама никогда бы мне его не раскрыла, но раскрыл фон Плеве! Да, да, моя дочь Фрида *знает*, в чем истина, а главный жандарм страны *знает* ее подпольное имя и в любой момент может ее обезвредить... Но он не торопится, он хочет сделать это руками ее отца, то есть моими. Он требует, чтобы лидеры еврейской общины отвадили еврейскую молодежь от революционного движения, а я лично – отвадил мою дочь. В противном случае он грозит изгнать *все* еврейское население из страны. Вы, помните, еще лет десять назад правительство четко сформулировало свою политику по отношению к евреям: треть из них должна принять крещение и раствориться в русском народе, а из тех, кто не пожелает креститься, половина покинет страну, а другая половина – вымрет. Эту линию они и проводят – не без успеха, чему первым свидетельством могу быть я сам, принявший лютеранство. Но фон Плеве недоволен. Он считает, что процесс идет слишком вяло, его надо подстегнуть. И вот теперь, когда нарастает волна революции, он только ищет предлога, чтобы изгнать все еврейское население из страны. Вы представляете, каким бедствием это может обернуться? Когда евреев изгоняли из Испании, их там было примерно шестьсот тысяч, а уцелело не больше трехсот тысяч. В России сейчас шесть миллионов евреев – подумайте, что произойдет, если эти бесчисленные толпы побредут по дорогам изгнания...

Короленко: Вы что же, действительно считаете это возможным?

Кенигшац: А почему – нет?!

Короленко: Хотя бы потому что сейчас не средневековье, чтобы можно было изгнать целый народ! Двадцатый век на дворе!

Кенигшац (*с горькой иронией*): Ах, *двадцатый* век! Послушайте, дорогой Владимир Галактионович! Не ради комплимента хочу вам сказать – ваш литературный талант приводит меня в восторг. Меня восхищает все – и красота вашего слога, и острота мысли, и точность описаний, а больше всего – ваша искренность. Читаю все, что выходит из-под вашего пера, и не устаю восхищаться. Ваше небольшое эссе «Огоньки» я помню наизусть. «Впереди – огоньки!» Вы верите в прогресс, вы убеждены, что жизнь меняется к лучшему. Пусть медленно и мучительно – но к лучшему. «Человек создан для счастья, как

птица для полета!» Очень благородная точка зрения, и как точно, как красиво выражена! Но... А что если – *нет*? Что если вы выдаете желаемое за действительное? Положа руку на сердце, могли ли вы предположить, что в просвещенном двадцатом веке может разразиться такой дикий погром?.. А я, представьте себе, давно этого опасался. Нагнетание ненависти здесь, в Кишиневе, – оно ведь происходило на моих глазах. Я был свидетелем того, как наша тихая, ленивая и относительно сытая Бессарабия, за несколько лет, с тех пор как Крушеван основал свою первую газету, превратилась в пороховой погреб. Потому, видно, Плеве и избрал Кишинев полигоном для этого кровавого эксперимента. Конечно, я *потрясен* случившимся не меньше вас, но *удивлен* – меньше. Я не считаю, что двадцатый век лучше, добрее девятнадцатого или двенадцатого века только потому, что он наступил позже. Ужасы средневековья могут повториться по одному мановению руки господина Плеве.

Короленко: Не мне защищать перед вами жандарма, поставленного управлять нашим несчастным отечеством. Но если вы убеждены, что все зло от фон Плеве, то тем более ваш нравственный долг вывести его на чистую воду!

Кенигшац: Вовсе не в этом я убежден! Вы знаете, кто во много раз опаснее Плеве?

Короленко: Крушеван?

Кенигшац: Этот злобный демагог и фанатик очень опасен, но в данном случае я имею в виду не Крушевана – нет! Я говорю... о моей *Красной* дочери Фриде и ее друзьях! Пока что они незаметны – раскиданы по тюрьмам и ссылкам, а в промежутках между ссылками читают что-то из Маркса в рабочих кружках. Но *веры* в то, что они знают, где истина, у них больше чем у Плеве и Крушевана вместе взятых. Если верх возьмут фанатики революции, то они покажут, что такое борьба против эксплуатации – еврейской, русской, интеллигентской – всякой. Ох и не поздоровится нам всем, Владимир Галактионович! Сильно не поздоровится...

Короленко: Я не разделяю взглядов крайних революционеров, но боюсь, что позиция вашей дочери мне симпатичнее, чем ваша. Вы, вероятно, знаете, что мне доводилось быть жертвой произвола, мыкаться по тюрьмам и ссылкам, куда меня кидали без следствия и суда, по голому подозрению. Они и сейчас рады бы упечь меня в какой-нибудь медвежий угол, да опасаются благодаря моей широкой известности. А то бы упекли непременно. Из всего этого я усвоил одно – за каждый глоток свободы в нашей стране, за само право жить, дышать, сохранять человеческое достоинство надо бороться. Надеяться на милость со стороны властей – значит жестоко обманывать себя. Вы, Евгений Семенович, прожили несравненно более благополучную жизнь, чем я, но я вижу, какой вы несчастный человек. Ваше мирозерцание – это клубок противоречий. Вы идете к фон Плеве выразить протест против надругательства над вашими собратями и тут же

клянется ему в верноподданнических чувствах. Вы знаете о подоплеке погрома больше, чем кто-либо другой, но вместо того, чтобы воспользоваться этим знанием для борьбы за еврейство, которое вам дорого, вы заклинаете таить правду в наивной надежде, что те, кто раскрутил эту кровавую карусель, станут милостивее. Наконец, боясь потерять то небольшое, чего вы достигли в жизни, вы теряете самое для вас дорогое – вашу дочь, девушку, как я могу понять с ваших же слов, цельную, самоотверженную и не терпящую сделок с совестью. Вместо того чтобы ее поддержать, стать ей опорой, вы не только сами отказываетесь действовать против правительственного произвола, но всех других заклинаете бездействовать, чтобы не получилось хуже!

Кенигшац: Да, Владимир Галактионович, я сторонник древнего принципа Гиппократата – главное не повреди. Полагаю, что в общественной жизни он так же важен, как в медицине. Мы все хотим блага народу, но не даром сказано – благими намерениями вымощена дорога в ад. Признаюсь Вам, я был бы несказанно счастлив, если бы история решила наш спор в вашу пользу, а не в мою. Боюсь только, что будет иначе.

Короленко: Ну что ж, подождем суда истории. Во всяком случае, я вам благодарен за сообщенные сведения, хотя и сожалею, что вы не позволяете мне ими в полной мере воспользоваться.

Сцена 15

Киев. Пинхус и Мойша.

Мойша (*возбужденно жестикулируя*): Профессор мной очень доволен! Представляешь, он берется хлопотать, чтобы меня оставили при кафедре, хотя я и еврей. Он сказал, что будет за меня бороться. «Не благодарите, говорит, я это делаю не ради вас, а ради науки. У вас светлая голова и вы преданы делу. Такие юноши науке очень нужны». Он просто спит и видит меня своим ассистентом!

Пинхус: И ты хочешь всю жизнь посвятить звездам?

Мойша: Ну конечно! Только бы ему удалось меня отстоять... Видишь ли, Пинхус, с тех пор, как существует астрономия, то есть много тысяч лет, ученым приходилось довольствоваться внешним наблюдением за светилами. Сначала невооруженным глазом, а со времен Галилея – с помощью подзорной трубы. Колоссальное изобретение! На близких планетах можно разглядеть даже некоторые подробности. На Марсе – ты, конечно, слышал – обнаружили что-то вроде каналов. Но все равно – это только внешние наблюдения. И вот совсем недавно, каких-то лет тридцать назад, появился новый метод – спектральный анализ. Сперва его использовали только в физике, но затем физика объединилась с астрономией! И теперь отсюда, с Земли, мы можем, разбираться в том, что происходит не только на поверхности звезд, но и в их недрах!

Пинхус (*рассеянно*): Где происходит?

Мойша: Внутри звезд!..

Пинхус: И всю жизнь – звезды?

Мойша (*обескуражено*): Я тебя что-то не понимаю. Скитаться по маленьким местечкам без всякой цели, перебиваясь случайными уроками, – лучше? Ты вообще-то думаешь о своем будущем? Врачом ты стать не захотел, Политехникум бросил – ладно, хотя причины я до сих пор не могу понять...

Пинхус: Я же тебе объяснял – не хочу набивать кошельку сахарозаводчику Бродскому. Он и без меня прекрасно это делает.

Мойша: Брось, это только красивые слова! Между прочим, именно господин Бродский отвалил сто тысяч рублей на реальное училище, которое мы с тобой окончили. И Политехникум тоже основан при участии его капиталов. Сахарные заводы Бродского обеспечивают работой около ста тысяч человек, из них почти половина – евреи, о которых у тебя так болит душа. Если бы не заводы Бродского, им пришлось бы помириться с голоду. Труд тяжелый, плата мизерная – согласен. Но если бы ты стал инженером на одном из этих заводов, то мог бы улучшить производство, а, значит, и положение рабочих. Это не звезды, а практическое дело, о котором ты всегда мечтал. И вдруг – не хочу набивать кошельку Бродскому! К чему это привело? В солдатах тебе было лучше, чем в Политехникуме? «На пле-е-чо! Кру-у-гом! Тяни носок, жидовская морда!..»

Пинхус: Ну, *жидовской мордой* я никому не позволял себя называть!

Мойша: Ты не позволял, но они все равно тебя так называли. Если не в глаза, то за глаза. Ты это отлично знаешь. Но дело в другом. Бессмысленной муштре ты отдал год. Ну, хорошо, и это позади. Так ты теперь в каком-то захолустье перебиваешься уроками, теряя попусту лучшие годы...

Пинхус: В Ковель я больше не вернусь, Мойша...

Мойша: Вот и отлично! Садись за учебники, подготовься, приедешь в Петербург и поступишь в университет. При твоих способностях тебе не страшна процентная норма. Жить будем вместе.

Пинхус: А Кишинев?..

Мойша (*заметно скиснув*): Но что мы можем сделать? Что *мы с тобой* можем сделать?..

Пинхус (*иронично, почти с сарказмом*): *Мы с тобой*? Конечно, изучать звезды! Профессор похлопочет, и тебя оставят при университете, несмотря на еврейское происхождение. Тебе даже будет не обязательно нырять в купель. А, в крайнем случае, примешь лютеранство. Ничего особенного, так делают многие. Не отказываться же от научной карьеры из-за такой малости. В православие нашего брата берут с трудом, а в лютеранство – пожалуйста. Небольшая формальность и – все дороги открыты. Тебя пошлют на казенный счет за границу.

Через пару лет вернешься с превосходной диссертацией и блестяще защитишь ее при большом стечении публики. Ничего не понимающие, но преисполненные восторга дамы в модных туалетах будут обмахиваться веерами и неистово аплодировать. Профессор произнесет очень либеральную речь, даже намекнет на то, что ради пользы науки евреям надо дать равноправие. Ты, скромно потупившись, будешь принимать поздравления. А господин Крушеван получит великолепный повод раструбить по всему свету, что вслед за русской торговлей, адвокатурой, медициной и прессой евреи захватили и русскую науку.

Мойша: Что за околесицу ты несешь? Кто такой господин Крушеван?

Пинхус: Нет, это великолепно! Он даже не слышал о Крушеване, хотя о нем трубит весь свет. Правда, в курсе спектрального анализа о Крушеване не написано. А я, представь себе, только о нем и думаю... К сведению твоему сообщаю, что в Кишиневе все-таки опознали десяток погромщиков. Под давлением общества началось следствие, кого-то из них будут судить. Из «приличного» общества опознан только один – нотариус Писаржевский. Дворянин и игрок, большой франт и баловень женщин. Его подручные поджигали магазины и синагоги, убивали стариков, вбивала гвозди в черепа младенцев... Следователи делали все, чтобы выгородить Писаржевского, так что нотариус, скорее всего, вышел бы сухим из воды. Однако он не вынес позора и застрелился. Но разве это *их* позор, Мойша? Это *наш* позор. Они убивают *нас*, потому что мы *позволяем* себя убивать – без всякого сопротивления, даже без ропота. Если стенаем и плачем, то только от горя. Униженно просить пощады — это все, на что способны наши братья. Если ты *можешь* жить с таким позором в душе и изучать звезды, то я не могу. И не буду. Те, кто раскрутил эту карусель, должны ответить... Не какой-то нотариус, а главные виновники, такие, как Крушеван! Ему не грозит ни следствие, ни суд, ни какие-либо иные неприятности. Ведь он лично не убивал, он только *призывал* убивать. И ходит в героях. Приятельствует с самим Плеве, государь справляется о его здоровье. Еще бы! После Кишинева он прослыл главным патриотом России!..

Мойша: Я все-таки не пойму – что *мы с тобой* можем сделать? Запретить Крушевану писать о еврейском заговоре или запретить царю интересоваться его здоровьем?

Пинхус: Что-то *может* быть сделано, Мойша. И будет сделано.

Сцена: 16

Петербург. Пинхус Дашевский сидит в желтом пальто в ресторане в притененном углу сцены. Напротив ярко освещенный фасад двухэтажного здания с вывеской ЗНАМЯ над парадным подъездом. Массивная дверь то и дело открывается и закрывается – с деловым видом входят и выходят люди.

Пинхус (*что-то вяло жует, просматривает газеты, но все его внимание*

сосредоточено на окне, через которое он видит парадную дверь редакции «Знамени». При появлении на пороге нового человека, он весь загорается, но тотчас гаснет): Проклятое право жительства. Приходится ночевать далеко за городом, в парке, на скамье, укрывшись этим нелепым желтым пальто. Паровичок ходит только раз в день туда и раз обратно. Приезжаю в город слишком поздно, а уходить надо рано, иначе можно опоздать на поезд, нарваться на проверку документов. А тогда арестуют и без «права жительства» вышлют по этапу... Мог бы ночевать у Мойши, но лучше его не впутывать. Фрида тоже здесь, в Петербурге, – она-то нашла бы способ меня приютить! Но ее и подавно нельзя впутывать, а то возникнет впечатление, что я действовал от их партии. Тогда вся моя акция потеряет смысл. Ни у кого не должно быть сомнений, что я действую один, как еврей, мстящий за поруганных братьев. Пусть поймут и усвоят все крушеваны на свете, что нас нельзя убивать безнаказанно. Каждого настигнет карающая рука. Око за око, жизнь за жизнь, как сказано в наших древних книгах... Но он словно сквозь землю провалился, этот Крушеван. Сколько усилий стоило отыскать его портрет и изучить каждую черточку его лица, чтобы безошибочно опознать среди тысяч лиц. Это высокое куполовидное чело, переходящее в обширную лысину... Эти печальные, задумчивые, широко расставленные глаза... Эти лихо закрученные усы и густая черная борода... Белая накрахмаленная манишка, щегольской галстук-бабочка, безупречно сидящий черный сюртук с отглаженными бортами... Вид одухотворенного интеллигента, философа... Как поднять руку на такого человека?.. А заглянешь в его газету – каждая строчка дышит ненавистью, взывает к насилию над «врагами рода человеческого», как он нас называет... Нет, не уйти ему от ответа, не выручат его печальные глаза и благородное чело. Получит свое сполна. Для этого я здесь... Небось нутром чует опасность, носа не кажет из своей норы... Да нет, он, видно, выходит для моциона по утрам. А сейчас в газете самое горячее время. Вон сколько народа снует туда и обратно. Но он появится – рано или поздно. Вот уже четвертый день я здесь дежурю. Кончаются деньги... Но он появится, не может не появиться. Что-то подсказывает мне, что он появится сегодня. *Сейчас!..*

Крушеван появляется на пороге редакции. Останавливается ослепленный ярким солнечным светом. Он в белой накрахмаленной манишке со стоячим воротничком, в черном сюртуке, бабочке, в руке трость с массивным серебряным набалдашником. Безукоризненные манеры, открытое лицо, большие печальные глаза. Минуту колеблется, вынимает из жилетного кармана тяжелые серебряные часы. Видит, что у него есть время, и, повернув направо, идет вдоль здания к выходу со сцены.

Пинхус (при появлении Крушевана подымается, весь собран для решительного броска): Половой! Счет. Живее!! (Не дожидаясь, пока половой принесет счет, кладет на стол хрустящую ассигнацию). Сдачи не надо. (Устремляется к двери, не отводя глаз от окна, в которое смотрит на

Крушевана). Как, однако, элегантен, какая благородная осанка, какие тонкие черты лица... И эти печальные широко расставленные глаза... Но у меня все рассчитано. Сейчас он кликнет извозчика. Пока Ванька тронет ленивую клячу, пока развернется, я успею подойти вплотную... Готовился убить что-то угрюмое, косматое, какого-то узколобого зверя, а тут – рафинированный интеллигент с тонкой нервной организацией. *(Выскакивает на улицу, видит удаляющегося Крушевана, замирает в растерянности.)* Черт возьми! Как я не подумал, что он может не брать извозчика, а отправиться куда-то пешком!.. *(Устремляется за Крушеваном.)*

Сцена 17

Петербург. Невский проспект.

Крушеван *(не спеша, шагает в толпе прохожих, поигрывая щеголеватой простью)*: А все-таки Вячеслав Константинович Плеве сдержал слово. Приятно получать *такие* приглашения в Цензурный комитет... Когда знаешь, что твоя взяла, а крещеный еврей Адикаевский посрамлен. В другой раз крепко подумает, прежде чем что-либо запрещать Крушевану. До встречи еще минут сорок, можно позволить себе прогуляться по Невскому. Грех не прогуляться в такой славный денек. Уже в разгаре лето, а солнце ласковое, совсем не злое... В Бессарабии такие деньки выпадают только ранней весной. Какая, однако, роскошь – вот так, не спеша пройтись по Невскому. Как редко я могу себе это позволить. Эта газетная поденщина... Только и знай отбиваться от нападков еврейской прессы. Катай по печатному листу ежедневно, да потом лайся с типографщиками до света, чтобы газета с утра успела к читателю. За сим и не замечаешь, какая течет вокруг яркая, бурливая, красочная жизнь... *(К Крушевану ластится размалеванная проститутка, по виду цыганка)*.

Проститутка: Позолоти ручку, хороший господин, погадаю тебе, утешу тебя, пойдешь со мной – не пожалеешь!..

Крушеван *(замедляет шаг, с благосклонной, оценивающей улыбкой смотрит на цыганку, затем вдруг хмурится, жестко хватая ее за руку)*: Прикидываешься цыганкой, иудино отродье! Но меня не проведешь! Еврейский дух я за версту чую. Ну-ка признавайся, какой тут у тебя гешефт? С желтым билетом вам разрешено промышлять по всей России, так иные пользуются... Читать-то умеешь?

Проститутка *(испуганно)*: Никак нет, ваше благородие... Я гадать умею, еще кое-что умею, что мужчинам нравится *(пытается улыбнуться)*, а не пригожа вам, так отпустите бедную цыганочку...

Крушеван: Врешь, еврейка, врешь! Евреи все умеют читать! Видала, небось, в газетах писали – приехала одна в Петербург учиться стенографии, а чтобы получить право жительства, выправила себе желтый билет. И живёт, как ни

в чем не бывало, курсы стенографии посещает. Ан, дворник пригляделся – клиенты к ней вовсе не ходят! Ее в участок, оттуда в больницу на освидетельствование. И что же! Оказалась та *проститутка* – девицей! Может, ты тоже девица, а тут для отвода глаз цыганничаешь? Вот сдам тебя городовому, чтоб отправил на освидетельствование...

Проститутка (*в испуге, умоляющим тоном*): Отпустите меня, господин хороший! Господом Богом прошу! Я вам ничего не сделала! (*Вырывается и убегает. Крушеван хохочет ей вслед*).

Пинхус (*протискиваясь сквозь толпу, приближается вплотную к Крушевану*): Такая беззащитная спина, шея... Как поднять руку на беззащитного человека... (*Смахивает крупные капли пота со лба*). Но разве я забыл, что на нем кровь моих братьев! Почему же все сопротивляется внутри?... Цыплячья душа, позорище. Видать, носом не вышел, своим длинным еврейским носом. Как я буду себя презирать, если не сделаю этого!.. Однажды дал в морду кретину-городовому и вообразил себя Бар-Кохбой. Городовой-то был больше на зверя похож, чем на человека. Был бы *этот* тоже похож на зверя, я бы, пожалуй, не дрогнул. Велика заслуга – убить животное. Но он не зверь, у него человеческое лицо, нормальные человеческие реакции. Это мы не люди, если не можем постоять за себя. Надо действовать! (*Выхватывает из кармана револьвер, но тотчас прячет его*). Кругом столько народу, стрелять в такой толпе немыслимо... Хорошо, что у меня припасен нож. Что-то подсказало – нож тоже может понадобиться... Я должен, должен... Сегодня они узнают, что евреев нельзя убивать безнаказанно. Слышишь, Фрида, сегодня они это узнают...

Крушеван: Хороший денек, хорошо дышится, хорошо думается. Красив Невский проспект, с его суতোлкой среди застывших как на параде зданий... Сколько лиц, сколько судеб... Каждый прохожий мог бы стать героем небольшого рассказа. Было время – у меня не хуже, чем у именитейших беллетристов получалось. Оставить пришлось до лучшей поры. Пускай господа Чеховы и Короленки занимают публику художествами. Им лишь бы слава, успех, да чтобы больше платили за каждое слово. И порядки российские бы осрамить путем какого-нибудь скандала – опять же для личной славы и личного успеха. До судьбы народа, государства им дела нет. Ну что ж, потомство рассудит нас с Чеховыми да Короленками. Русский народ скажет свое слово. Русский народ всем воздаст по заслугам – и тем, кто в трудную для отечества годину дарованный Богом талант продавал за еврейские деньги, и тем, кто не меньший, может быть, литературный талант в землю зарыл и весь, без остатка, ринулся в драку – за простого русского человека, за незыблемость освященных традиций, за установленный от Бога порядок вещей. Сейчас получу цензурное разрешение, и завтра же первая порция «Сионских протоколов» увидит свет. Как-то запоют после этого евреи!.. (*Пинхус вплотную приближается к Крушевану, хватая его за шею. Крушеван – сердито, пытаясь обернуться*). Что за дурацкие шутки?..

Пинхус: Боюсь, что вам теперь не до шуток, Павел Александрович! (Пинхус, выхватывает из бокового карман небольшой ножик, ударяет Крушевана по шее, но нож увязает в крахмальном воротничке.)

Крушеван (с недоумением): А ведь меня убивают!.. (Пинхус бросает нож, который со звяканьем катится по сцене, Пинхус убегает. Крушеван хватается за шею, видит на пальцах кровь, испуганно): Я ранен! Смертельно! Это конец... Нет, я буду жить! Жить! Обязательно жить!...(Он быстро подбирает нож, размахивая ножом и палкой, бежит за Пинхусом. Прохожие шарахаются). Держи! Держи его!! Не дать уйти, не дать уйти еврею!.. Держи!.. Городовой!..

Пинхус: (подбегает к городовому, запыхавшись): Арестуйте меня, я пытался убить человека. (Городовой тупо смотрит на Дашевского, явно не понимая. Подбегает Крушеван).

Крушеван: Городовой, ты что же стоишь, как пень на дороге! Держи его, а то он убежит!

Пинхус (бледен, взволнован, растрепан, но, видя страх и смятение на лице Крушевана, говорит с усмешкой): Не надо нервничать, Павел Александрович! Я сам сдался городовому – не за тем, чтобы убежать!.. (Появляются несколько полицейских, заламывают Пинхасу руки, уводят. Свет гаснет).

Сцена 19

На авансцене прожектор высвечивает фигуру Короленко.

Короленко: Крахмальная сорочка ослабила удар, и Крушеван задешево попал в герои. Трудно было оказать большую услугу этому изувечу.

На другом краю сцены прожектор выхватывает фигуру Крушевана. Его шея забинтована, но он ликует.

Крушеван (патетически): Итак, номер первый сошел благополучно. Очередь за следующим. Милости просим. Но все-таки, господа евреи, вы убьете только меня, но никогда не сможете убить правду о вашем заговоре против России и всего мира. В то время, когда вам удастся уничтожить меня, найдутся другие, которые поднимут знамя и станут говорить вам ту же правду – о тайнах сионских мудрецов, о замученных вами христианских младенцах, о том, как вы сеете смуту и раздор среди всех народов. Богу угодно было защитить меня от вас. Тем более он защитит от вас Россию и весь христианский мир... Чаша терпения народа переполнилась, он зальет землю потоками вашей крови, и весь мир содрогнется от страшного народного суда над вами...

Сцена 18 Кишинев.

Кенигшац в своем кабинете. Входит Фрида. Кенигшац вскакивает, хочет подбежать, но она останавливает его отстраняющим жестом.

Фрида: Я по делу... отец. По делу Пинхуса Дашевского. Ты знаешь, о ком я говорю, о нем пишут сейчас все газеты. (*Нервно прохаживается по комнате, крепко сцетив пальцы*). Тысячу раз я объясняла ему порочность тактики террора, но он все-таки сделал эту ужасную глупость. От отчаяния. Вина тут больше моя, чем его. Я не должна была его оставлять. Я не думала, что он ... *так* любит меня... Не думала... Не ожидала... Его надо вытащить из тюрьмы, отец. Я *должна*, понимаешь?

Кенигшац (*тихо, сдерживая волнение, вызванное ее появлением*): Чем же я могу помочь, дочь моя? Ради тебя, ради твоего возвращения в родительский дом я сделаю все, что ты скажешь... Если нужны деньги...

Фрида (*срываясь на крик*): Деньги?! При чем тут деньги! Мне не нужно денег! Твоих грязных буржуазных денег. (*Понизив голос, почти просительно*) Его надо вытащить из тюрьмы. Для этого есть только один способ – добиться оправдательного приговора в суде. Ты сможешь это сделать. Больше никому, но ты – сможешь. Если возьмешь на себя его защиту.

Кенигшац: Ради тебя, ради того, чтобы ты вернулась домой и снова стала называть меня отцом, я готов на все... Но... у тебя не должно быть иллюзий. Я не в силах помочь твоему другу. Если он тебе так дорог, пусть твои товарищи устроят ему побег. На *мои* буржуазные деньги.

Фрида (*горько усмехаясь*): Неужели ты не понимаешь, что прежде чем придти к тебе, я испробовала все. Я говорила с товарищами. Партия рабочего класса не может вмешиваться в распрю двух групп буржуазии. Кроме того, партия против террора, она не может рисковать ради того, кто действует вредными методами. Пинхус не наш – понимаешь? Он *не наш, не наш, не наш!* Он только... *мой!* Я знаю, ты сможешь найти такие слова, которые проймут присяжных и они оправдают его. Ведь он действовал из самых благородных побуждений, ты сможешь это доказать, как никто другой. Прецеденты тебе известны, ты их используешь в своей защите. И они его оправдают. А сколько радости это принесет всем евреям, а как вырастет твой престиж в либеральных кругах, чем ты так дорожишь...

Кенигшац: Нет, дитя мое, прецедент, о котором ты говоришь, не подходит к данному случаю. Там русская революционерка стреляла в русского генерала в отместку за чинимый им произвол, и суд ее оправдал. Но дело твоего приятеля – совсем другое. Преступление его не особенно крупное – он не убил и даже не изувечил этого негодяя. Только сделал ему подарок!.. Но он действовал как еврей, мстящий русскому патриоту за еврейский погром. И ты хочешь, чтобы другой еврей защищал его в русском суде и чего-то при этом добился! Ты не учиываешь силу племенной солидарности и племенной ненависти. Она не укладывается в твою теорию, но в жизни она играет куда более важную роль, чем твой интернационал. Сколь бы я ни был убедителен в моем красноречии, что бы я,

еврей, ни сказал в оправдание другого еврея, поднявшего руку на «патриота» России, все будет истолковано в прямо противоположном смысле. Чем крепче будут мои аргументы, тем худшее решение вынесет суд!

Фрида: Что же делать, отец?

Кенигшац: Могу сказать только одно – твоего приятеля должен защищать русский адвокат. Пусть не из самых блестящих. Но важно, чтобы его славянское, православное нутро не могло быть подвергнуто ни малейшему сомнению. Тогда есть шанс, что присяжные, по крайней мере, выслушают его без слишком сильных предубеждений. Это единственный совет, который я могу тебе дать... Как твой отец и как юрист...

Фрида (после паузы): Хорошо... Я поеду...

Кенигшац: Куда ты поедешь, ты же только что с поезда! Переночуй хоть одну ночь в родительском доме! Твоя комната всегда для тебя приготовлена.

Фрида: Нет, нет, отец, у меня срочные дела... Правда, мне надо. Я должна успеть на вечерний поезд. *(В смятении чувств порывается броситься к нему на шею, но осаживает себя и спокойно выходит).*

Сцена 20

Петербург. Снова камера предварительного заключения. Пинхус ходит по камере, преследуемый отчаянным воплем тысяч голосов. Руками он плотно закрывает уши, но не может отделаться от этого вопля. Входит адвокат Миронов.

Миронов: Нами весь свет интересуются, дорогой мой. Все газеты о нас пишут. Сам великий Короленко хотя и не одобряет вашего поступка, но видит в вас новый тип еврейского интеллигента. Он считает, что евреям надоело служить приниженными жертвами и среди них стали появляться смелые и гордые личности, готовые постоять за свой народ. Таким он считает вас...

Пинхус (сумрачно): Мне очень жаль, господин адвокат, но писатель Короленко ошибается. Я представляю вовсе не новый тип еврея, а именно старый тип приниженной жертвы. Те из нас, кто не может мириться с приниженностью и страхом, отдаляются от своего народа, перестают ощущать с ним связь. Они идут служить интернационалу, мировой революции, науке, искусству, социализму – чему угодно, но только не своему народу. А те, кто остается, не способны на сопротивление. И я такой же, как все, такой же трус с цыплячьей душой. Нас еще будут убивать и убивать, господин Миронов. Будут проламывать черепа старикам и младенцам. Тысячами, десятками тысяч будут, как скот, гнать на убой. Будут делать абажуры из нашей кожи, набивать матрасы нашими волосами и нас же самих заставят рыть себе могилы. Нам предстоит пережить катастрофу, какой еще не видел мир... Может быть, потом, *после* катастрофы, остатки нашего народа

обретут, наконец, достоинство и смогут показать, что евреев нельзя убивать безнаказанно... Вы мне предлагаете юлить, изворачиваться, просить милости. Но это значит – идти на еще большие унижения. И ради чего? Ради копеечного облегчения моей участи? Нет, *этого* они от меня не дождутся, господин адвокат. Я глубоко презираю себя за то, что *не сумел* отомстить Крушевану за кровь моих братьев. Но я *хотел* ему отомстить. Я *хотел* его убить. Слышите? ХОТЕЛ. *Этого* у меня никто не отнимет.

Раздается стук и скрежет металлических засовов, входят жандармы, Пинхус твердым шагом направляется к выходу из камеры – на суд. Снова играет бравурная музыка, световые эффекты имитируют крутящуюся карусель, стремительно нарастает отчаянный вопль тысяч голосов, внезапно обрывающийся тишиной.

Эпилог

На авансцене три актера, игравших три ведущие роли: Пинхуса Дашевского, Павла Крушевана и фон Плеве:

Актер, играющий Пинхуса Дашевского: По распоряжению министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве дело Пинхуса Дашевского слушалось при закрытых дверях и не освещалось в печати. Дашевский был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к пяти годам каторжных работ. Сенат приговор утвердил, но позднее, усилиями более опытного адвоката *еврейского* происхождения, срок удалось скостить до трех с половиной лет. В 1933 году, ровно через тридцать лет после покушения на Крушевана, инженер Дашевский был арестован органами ГПУ и обвинен в сионистской деятельности. Он умер во время следствия, по-видимому, не выдержав пыток.

Актер, играющий фон Плеве: Вячеслав Константинович Плеве пережил жертвы Кишиневского погрома всего на один год. Он был выслежен боевой организацией социалистов-революционеров и убит взрывом бомбы. Его убийца, Евгений Созонов, приговоренный к вечной каторге, через несколько лет раскаялся в содеянном и покончил с собой.

Актер, играющий Крушевана: После неудачного покушения Пинхуса Дашевского Павел Александрович Крушеван приобрел еще большее влияние в патриотических кругах России. В 1906 году он стал депутатом Государственной Думы, после чего его борьба против еврейства достигла апогея. 12 июня 1909 года он внезапно скончался от сердечного приступа, но, как он и предсказывал, его *дело* продолжает жить. «Протоколы сионских мудрецов», впервые опубликованные Крушеваном, стали ядром нацистской пропаганды в Германии, главным обоснованием гитлеровского геноцида. В постсоветской России эта «самая кровавая книга» двадцатого столетия стала одной из наиболее читаемых и часто переиздаваемых книг. Еще большей популярностью она пользуется в

арабском мире. Еврейские ритуальные убийства, всемирный еврейский заговор остаются излюбленными темами сотен патриотических изданий в России, на Ближнем Востоке и во всем мире.

[1] По мотивам исторического романа под тем же названием.